



Апокалипсис
от КОБЫ

Эдвард
РАДЗИНСКИЙ «Друг мой,
враг мой...»

Апокалипсис от Кобы

Эдвард Радзинский
«Друг мой, враг мой...»

«АСТ»

2012

Радзинский Э. С.

«Друг мой, враг мой...» / Э. С. Радзинский — «АСТ»,
2012 — (Апокалипсис от Кобы)

Это рассказ человека, который провел всю жизнь рядом с Кобой-Сталиным. (Коба – герой грузинского романа «Отцеубийца» – партийная кличка Сталина). Он начал писать свои «Записки» революционером и закончил в глубокой старости обломком исчезнувшей великой Атлантиды – страны по имени СССР. В них он пытается объяснить себя тогдашнего, который так легко убивал во имя Революции, и описать своего лучшего друга, законного сына нашей кровавой Революции – Иосифа Сталина. Эти «Записки» – голос «России кровью умытой». Эдвард Радзинский

Содержание

Книга первая	6
Черная фотография	8
Мой отъезд	9
«Тот день» – 28 февраля. Утро	10
28 февраля. Последний вечер Кобы в Кремле	16
Прощание	17
28 февраля. Возвращение на Ближнюю дачу	18
После «той» ночи. Сны	19
Евреи	23
Рождение Кобы	26
Коба и власть	31
Ленин и кровь	33
«Сила бессильных»	39
Камо	40
Деньги партии	41
Задание партии	42
Убийство мецената	43
Битва за террор	46
Великое ограбление	48
Любовь и смерть	51
Тайна Кобы	55
Новый Коба	64
Толстяк посылает апостолов	66
Революция	69
Рождение новой власти	75
Большевицкий дворец блудницы	79
Конец царской армии	84
Бриллианты балерины	86
Возвращение Кобы	88
Последняя любовь Кобы	92
Отелло и Дездемона	93
Его первая шахматная партия	94
Унижение последнего царя	95
Могила Распутина	97
Продолжение шахматной партии: красотка Коллонтай	99
Немецкие деньги	100
Окончание шахматной партии: встреча Ленина	102
Историческая ночь на самом деле	104
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Эдвард Радзинский

«Друг мой, враг мой...»

© Радзинский Э. С., 2012

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Книга первая

Иосиф Сталин. Воспоминания о моем друге Кобе

Эту рукопись я получил в Париже в 1976 году.

Я жил тогда в маленьком отеле «Delavigne» в Латинском квартале. Приехал я на премьеру своей пьесы и перед началом дал интервью парижской газете. На следующий день консьерж вручил мне тяжелый конверт... В нем была машинописная рукопись на русском языке и письмо, написанное от руки неровным почерком.

«Соотечественник!

Прочитал ваше интервью в «Монд». Узнал, что вы решили (точнее – решились) написать биографию *«первого большевистского царя Иосифа Сталина»*. Так вы назвали моего дорогого друга Кобу.

Я стар. Я стремительно гасну, дней моих на земле осталось немного. И все, записанное мною на протяжении десятилетий... небывалых десятилетий! – попросту исчезнет в чужом городе. Я решил поторопиться. Приходится торопиться. Я передаю рукопись вам. Я писал ее *тогда и теперь*. Тогда, в стране по имени СССР, записывал подробно и, не скрою, витиевато. (Я ведь, как многие в революционные годы, баловался литературой, даже роман писать собирался. Оттого и жилище в Париже выбирал литературное – живу здесь, в Латинском квартале, где меня, старого революционера, окружают такие родные, понятные тени. На мой дом глядят окна квартиры отца Революции Камиля Демулена. И отец гильотины, немец Шмидт, жил неподалеку. В двух шагах отсюда Бомарше сочинял своего Фигаро. Над его наглыми шутками, раздевавшими аристократов, хохотали до упаду сами аристократы. А вскоре такие же Фигаро погнали на гильотину всю эту веселившуюся сволочь. Запомните: самые грозные идеи приходят в мир веселой, танцующей походкой. Родной нашей грузинской лезгинкой часто приходят они в мир.)

Я заканчивал писать свои Записки здесь, за границей, и, к сожалению, кратко. Дрожит рука (Паркинсон). Дрожит жалкая рука, которая так ловко убивала.

Я не надеюсь, что эти Записки помогут вам понять «нашего Кобу» – как звали товарища Сталина мы, его старые, верные друзья. Разве можно понять такого человека? Да и человек ли он?

Но смерть Кобы понять помогут. О ней написано много всякого вздора. Коба ненавидел Троцкого, но ценил его мысли. Были у Троцкого слова, рядом с которыми Коба поставил три восклицательных знака: «Мы уйдем, но на прощанье так хлопнем дверью, что мир содрогнется.» Эти слова имеют прямое отношение к жизни Кобы, но еще больше – к его смерти.

В своем интервью вы сообщили, что хотите поговорить с охранниками Кобы, которые были с ним на даче *в ту ночь*. В ту судьбоносную ночь, когда *все случилось!* Пустое занятие! Они ничего не знают. Из ныне живущих *знаю только я*, его безутешный друг Фудзи, не перестающий думать о нем.

И Коба по-прежнему рядом с Фудзи. Такие, как Коба, не уходят. Он лишь на время схоронился в тени Истории. И поверьте – Хозяин, как справедливо звала страна «нашего Кобу», вернется в свою Империю. Впрочем, все это предсказал он сам, мой незабвенный друг Коба.

Мой заклятый враг Коба.

Он часто приходит ко мне по ночам, как только я засыпаю. И я чувствую его запах – старческий запах пота от поношенного кителя генералиссимуса».

Подписи не было.

Далее шла рукопись.

Привожу ее безо всякого изменения с эпиграфами, которые были на отдельной странице.

«С 1917 года история России стала Историей большевистской партии. Всего через десять лет История России стала биографией Сталина».

«После его смерти ходило много слухов о его двойниках. Никаких двойников у него не было. Но причина слухов была».

Черная фотография

¹

У нас была общая фотография. На ней – Коба, я и наши друзья: Алеша Сванидзе, Абель Енукидзе, Камо Тер-Петросян, Нестор Лакоба, братья Серго и Папулия Орджоникидзе... Мы стоим, положив руки на плечи друг другу. Стоим одной шеренгой – друзья-грузины перед удалой пляской.

Когда он начал нас уничтожать, он не убрал ее в стол. Он только аккуратно замазывал черной краской тех, кого отправлял в лагеря или (чаще) в могилу. В конце концов на фотографии остался он один. Он стоял, положив руки на невидимые плечи исчезнувших друзей.

Окруженный чернотой, за которой прятались мы.

Почему он оставил ее на столе? Это знаю только я. Потому что лишь я знал настоящего Кобу. Барса Революции. Убийцу Революции. Знал лучше, чем знал себя он сам. Потому что я и живой – единственный из его друзей.

Но вас интересует конец Кобы. Страшный и жалкий, как почти все тайны.

Я устал охранять его смерть. Я ведь не просто стар. Я неправдоподобно стар, но все еще живу. Иногда мне кажется, что это он, Коба, держит меня здесь, чтобы я рассказал... Иначе не отпустит. Он и *оттуда* распоряжается мною.

¹ Разбивка на главы, названия глав и выделения курсивом – Э. Р.

Мой отъезд

Улетел я из СССР 4 марта 1953 года. В тот день в шесть утра вся страна услышала голос диктора Левитана, так соединявшийся в нашем сознании с величественным обликом Кобы. Торжественный, великолепный голос впервые сообщил о его болезни. Страна завалила письмами газеты. Люди предлагали свою кровь, свою жизнь, лишь бы спасти его. Заседала Академия медицинских наук – разрабатывала тактику его лечения.

Мне ни к чему было все это слушать. За три дня до того, в ночь на 1 марта, я уже узнал, что жизнь Кобы закончилась... И что там, на Ближней даче, лежит умирающее, беспомощное тело...

А я остался жить. Живой осел, покорное вьючное животное, которое лучше мертвого льва. Это повторено миллион миллионов раз, чтобы утешить нас, жалких ослов. Но все-таки я побывал на вершинах, куда вход доступен лишь небожителям. Благодаря Кобе. Моему закланному врагу Кобе. Моему нежному другу Кобе.

Итак, 4 марта днем я сел в самолет, летевший в Рим. *Мне нельзя было медлить.* Я ехал на аэродром, когда на солнечной мартовской улице из всех репродукторов все тот же голос Левитана с торжественной скорбью читал очередной бюллетень о состоянии здоровья Кобы – о температуре, пульсе, давлении, количестве лейкоцитов в его крови. Будто у него была такая же кровь, как у всех.

Он умер на следующий день в девять часов пятьдесят минут.

В это время я уже находился в Риме, на старой явочной квартире. Квартира была на последнем этаже. Говорят, этот дом в XVII веке построила куртизанка Фьяметта. Раньше я не замечал, что здесь нет лифта. Теперь же с трудом поднялся по мраморной лестнице. Но я был жив, а Коба – мертв. Я сидел у окна, смотрел на площадь Навона, на знаменитый фонтан... Был март, но уже становилось жарко, и я задернул шторы. Я плакал. Ведь умер мой друг. «Легче перенести смерть брата, чем смерть друга» – такая у нас, у грузин, есть пословица.

Я и потом плакал, когда вспоминал его последний день – 28 февраля... Точнее, последний день, когда он был всемогущим Кобой, страшным Кобой, барсом Революции.

Но в СССР я уже не вернулся.

И тогда же, в Риме, по свежим следам я описал *тот день, 28 февраля 1953 года...
И день последующий.*

«Тот день» – 28 февраля. Утро

Утром двадцать восьмого, в последний день февраля, я должен был приехать к нему на Ближнюю дачу.

Страна тогда верила, что Коба живет и работает в Кремле. Всю ночь до рассвета над кремлевской стеной светилось окно. Учителя вечерами приводили школьников на Красную площадь показывать негасимое окно, чтобы знали: их отцы после работы отдыхают, но отец страны неутомимо трудится в заботах о нас всех. На самом деле по примеру Романовых, живших в Царском Селе, Коба жил за городом – на даче, всего в тридцати километрах от Кремля (за это ее и называли Ближней).

Пылкий армянин архитектор Мирон Мержанов построил для Кобы эту прелестную дачку со множеством веранд. Ближняя много раз перестраивалась под диктовку Кобы. Но сам архитектор за перестройками наблюдать не мог. Опасно вплотную приближаться к моему другу Кобе. Смерти подобно. Я заплатил пятью годами лагерей. Следует добавить – «всего». Бедный архитектор – многими годами заключения. Следует и здесь добавить – «всего». Потому что полагалось платить жизнью. Другую плату от близких людей Коба принимал редко.

На этой веселенькой, зелененькой Ближней даче и поселился Коба после смерти жены. С 1932 года в Кремле оставался только его кабинет, где он работал до вечера. В своей кремлевской квартире он теперь редко ночевал, жизнь его отныне протекала на даче.

Каждый вечер несколько одинаковых черных ЗИСов выезжали из Спасских ворот Кремля и на бешеной скорости, меняясь друг с другом местами, неслись к Ближней. Весь маршрут объявлялся на военном положении. Дорогу охраняли автомобильные патрули и три с лишним тысячи сотрудников Госбезопасности. Шоссе шло мимо рощи. В самой роще, между деревьями, на подъезде к даче и вдоль бесконечного ее забора, стояли все те же сотрудники КГБ («чекисты», как по старинке называл их Коба).

Дом окружал большой кусок светлого подмосковного леса с березками, осинками, высокими соснами и елями. Через весь этот лесок были проложены асфальтовые дорожки, поставлено множество фонарей. Здесь, у фонарей, «чекисты» и прятались.

На участке был вырыт неглубокий пруд с купальней, хотя Коба никогда не купался в нем. И вокруг пруда, среди деревьев, тоже хоронились бдительные «чекисты». Если охранник неумело прятался и Коба на него натякался, он бил того сапогом.

Внутри дачи дежурили всего несколько самых проверенных «чекистов». Официально они именовались «сотрудники для поручений при И. В. Сталине». В разговорах между собой они называли дачу «Объектом», а себя – «прикрепленными к Объекту». Жили «прикрепленные» в особой пристройке. Там ночевал часто и я, когда оставался на Ближней. Эта пристройка соединялась с дачей дверью. Я назвал бы ее *Священной Дверью*. Открывать ее «прикрепленные» имели право *только по звонку* Кобы. Дверь эта вела в его апартаменты – в двадцатипятиметровый коридор, обшитый деревянными панелями. По обеим сторонам коридора располагались комнаты Кобы. Довольно скромное жилище для повелителя трети земного шара. (Мы, дети Революции, презирали жалкую буржуазную роскошь.)

Я все это подробно рассказываю, иначе не понять, что же случилось в *тот день* 28 февраля и в *ту ночь* – с 28 февраля на 1 марта.

Ночь, оставшуюся навсегда со мной.

Накануне я лег спать рано – ведь наступал главный день моей жизни. Но уже *в пятом часу утра* меня разбудил звонок Кобы (это его обычный звонок, в пятом часу утра он, как правило, ложился спать после ухода «гостей»).

Коба сказал, что стало плохо работать «устройство» и чтоб я приехал проверить его к десяти утра.

Прослушивающее устройство было установлено во всех комнатах Ближней дачи, в Кремле и в квартирах членов Политбюро. Это небывалое по тем временам чудо техники создали летом 1952 года (об этом я еще расскажу подробнее).

С 1952 года Коба, не выходя с дачи, мог прослушивать все ее помещения, Кремль и квартиры членов Политбюро.

В последний февральский день было холодно и очень солнечно.

Снег еще не стаял – лежал в саду. Я *приехал на дачу к десяти* и сидел на кухне вместе с «прикрепленными». Мы все ждали звонка – вызова от Кобы. Наружная охрана сообщала: в комнатах «нет движения». На языке охраны это означало, что Коба спит. Причем «наружка» (охранники перед дачей) не знала, где именно он спит, в какой комнате постелила ему на ночь постель Валечка. Это тоже являлось государственной тайной.

Лишь «прикрепленные» (охрана внутри) имели право знать, где проводил ночь мой таинственный друг.

И сейчас «наружка» неотрывно глядела на окна.

Просыпаясь, он обычно сам отодвигал в комнате шторы. Только тогда «наружка» понимала, в какой комнате он спал, и немедленно сообщала о его пробуждении «прикрепленным».

Но я-то не сомневался, что Коба давно проснулся. И притворяется спящим – не отодвигает шторы, а внимательно слушает «устройство».

И также я знал: притворяется он в последний раз.

Итак, я сидел на кухне, облицованной белым кафелем, похожей на больницу, и пил чай с «прикрепленными». Здесь же был вызванный Кобой начальник охраны Берии Саркисов. Он любезничал с поварихой, рассказывал неприличные анекдоты.

– Ну какой вы! – говорила повариха, кокетливо хихикая.

– Ну какой я? – раздевал ее глазами Саркисов.

– Знойный мужчина! – играла глазками повариха...

Наконец-то! *Около одиннадцати* «наружка» позвонила: «В Малой столовой есть движение!» Это означало: Коба раздвинул шторы в комнате, именованной Малой столовой.

Из всех комнат дачи он обычно выбирал одну и начинал в ней жить – есть, работать и спать. И уже не выходил из этой комнаты. Сюда переключались все телефонные звонки. Комнатка становилась столицей великой Империи, треть человечества управлялась из нее.

В тот последний его день таким местом оказалась Малая столовая.

Так она называлась в отличие от Большой столовой – огромной залы, где происходили его встречи с соратниками из Политбюро. Встречи, превращенные в ночные застолья.

«Гости» (так он именовал членов Политбюро) съезжались к полуночи. И начиналось веселье – ели, пили... Сам он пил мало, но щедро предлагал пить «гостям», и они не смели отказываться. Отказ означал: боится – вино развяжет язык. Значит...

Застолье сопровождалось обязательным весельем подвыпивших «гостей» – рассказывали анекдоты (матерные) и много шутили. Самая популярная и старая шутка – подложить помидор под зад, когда жертва встает произнести тост. Коба милостиво смеялся, а «гость», раздавивший задницей помидор, был счастлив: шутит, смеется – значит, не гневается! Засто-

лье заканчивалось обычно в пятом часу утра, и он разрешал обессиленным шутам отправляться спать.

Но в последний год жизни Кобы многолюдные собрания на даче закончились. Исчезли частые прежде гости Большой столовой – члены Политбюро Вознесенский и Кузнецов, они теперь лежали в могиле номер один в Донском монастыре, в «могиле невостребованных прахов», куда сбрасывали сожженные тела расстрелянных кремлевских «бояр». Уже не звал Коба на дачу старую гвардию – Микояна, Молотова и Кагановича...

Теперь он приглашал сюда лишь четверых: Берию, Хрущева, Маленкова и Булганина. Они – его постоянные гости.

Но я знал: скоро перестанет звать и их. Знали об этом, конечно, и они...

Обычно после отъезда шутов из Политбюро Коба не сразу ложился спать. Работал или разговаривал с полуграмотными «прикрепленными». Рассказывал удалые случаи времен своих ссылок, по-старчески привирая. Если на даче был я, после ухода гостей запрягали лошадь. И мы с ним в коляске ездили кругами по саду Ближней дачи. Или немного работали в нем. Он любил хорошо ухоженный сад, как все мы, грузинские старики. Но сажать цветы не любил, Коба вообще ненавидел физический труд. Единственное, что ему нравилось, – срезать секатором головки цветов.

– Старик... Жалко его, – сказал мне как-то один из охранников.

Если бы они знали, что задумал тогда «старик»...

Правда, никакого старика и не было. Был друг мой Коба, старый барс Революции, приготовившийся к невиданному прыжку.

Мир жил в ожидании Апокалипсиса. Но об этом – позже.

На кухне наконец-то раздался звонок из его комнат – сигнал нести ему чай. Обычно чай по утрам приносил комендант дачи Орлов. Но Орлов (он накануне вернулся из отпуска) сообщил, что простудился. Коба, панически боявшийся заразы, запретил ему появляться. Чай понес помощник коменданта, невысокий, плечистый Лозгачев (маленький ростом Коба любил невысоких людей).

Помню, перед тем как идти, Лозгачев перекрестился. Это делали все «прикрепленные», прежде чем отправиться в самое страшное путешествие – к нему.

Я слышал, как, уходя, Лозгачев приказал поварихе: «Яичницу для Хозяина».

Он открыл Священную Дверь в его коридор и пошел, старательно громыхая сапогами. Коба не терпел, когда входили тихо. Как он говорил – «крадучись». Его удивительный слух начал сдавать, и «прикрепленным» приходилось топтать с особенной силой.

Минут через десять Лозгачев вернулся и передал мне приказ Кобы «идти к нему». А главе охраны Берии Саркисову – «приготовиться к вызову».

Я вошел в Малую столовую, но она оказалась пустой.

Это была самая уютная комната его дачи. В углу потрескивали дрова в камине. На «турецком диване» валялась ночная рубашка. В центре стоял обеденный стол, как обычно заваленный бумагами. На этом столе, отодвинув их, он ел. И сейчас здесь находились самовар, остатки завтрака...

Я прошел мимо круглого столика с телефонами власти (прямой – с Госбезопасностью, другой – с двузначными номерами членов Политбюро и знаменитая «вертушка» – телефон правительственной связи) и вышел на веранду, соединяющуюся с Малой столовой...

Как я и предполагал, Коба давно проснулся. И сейчас, позавтракав, перешел из Малой столовой на веранду, освещенную холодным зимним солнцем. Он лежал на диванчике в кителе генералиссимуса и пижамных брюках. В последние годы ему нравилось носить военную форму. Мундир сглаживает старость. Украшает ее без того, чтобы сделать человека смешным, как это бывает с разряженными стариками. Он лежал, прикрыв лицо фуражкой,

чтоб солнечный свет не бил в глаза. (Впрочем, какое в Москве солнце! Настоящее солнце – на нашей маленькой родине.)

На столике стояли бутылка нарзана и стакан с недопитой водой.

Коба лежал и слушал. Громко работало «устройство». Была включена «прослушка» квартиры Берии – столовой. Там, видно, тоже завтракали. Женский голос спросил по-грузински о каких-то покупках. Берия ответил по-русски, что все купили. Потом – тишина, только громкое чавканье. Берия всегда шумно ел...

Увидев меня, Коба приподнялся на диванчике, сунул ноги в залатанные валенки (у него последнее время сильно опухали ноги).

– Сколько ни слушаю – ни хера! Знает говнюк мингрел... наверняка, знает... Включи Хруща. У меня что-то плохо получается.

Я включил квартиру Хрущева. Тот, хохоча, рассказывал непристойный анекдот.

– И этот шут наверняка знает! – сказал Коба и велел переключиться на квартиру Молотова.

Там молчали. Слышались шаги и кашель. Наконец раздался голос Молотова:

– Холодно на улице?

Ответил старушечий женский голос (очевидно, прислуга, жена Молотова Полина Жемчужина сидела в это время в тюрьме):

– Март на дворе. В марте, Вячеслав Михайлович, всегда зябко.

– Как говорится, «марток – надевай двое порток», – согласился Молотов, и опять молчание.

– И этот знает, мерзавец, – усмехнулся Коба.

Нет, они тогда и не догадывались об этом *новом*, неправдоподобном по тому времени «устройстве», способном слушать *на расстоянии*. Но они отлично знали, что их прослушивают. До изобретения «устройства» их прослушивали аппаратурой, установленной в доме, где они жили. Через квартиру Маленкова (на четвертом этаже) прослушивался Хрущев (на пятом), Буденный прослушивался на третьем и так далее.

Эту старую «прослушку» ставил Берия и подчиненное ему Управление по специальной технике Министерства госбезопасности.

Летом 1952 года появилось новое «устройство», но ни Берия, ни Министерство Госбезопасности не были в курсе.

И Берия оплошал в первый же день работы «устройства». Страшновато оплошал. Но об этом позже...

– Работает, прямо скажу, хуево, – сказал Коба. – Вчера квартира Молотова пропала.

– Это нормально, – сказал я, – вчера был сильный ветер, оттого и помехи.

– А почему иногда оно само выключается? Слушаешь – и вдруг тишина!

– Да нет, Коба, ты опять не туда нажимаешь.

Все это время (с тех пор, как смонтировали «устройство») Коба периодически нажимал не на те кнопки и при этом очень злился. Он был туп в технике.

– Все равно – говно, – резюмировал Коба благодушно. Он пребывал в настроении, что с ним теперь случалось редко, только когда он был здоров.

Он выключил «устройство» и сказал:

– Вечером приезжай в Кремль. Кино будем смотреть. А ты переводить.

Оказалось, Павлов (его обычный переводчик) заболел. Лег в больницу и новый начальник его охраны полковник Новик. Я понял – *наши* старались. Все шло по плану.

– И «Записки» свои привези, – добавил Коба. – Сейчас давай пить чай. – Он позвонил на кухню.

Так что с дачи мне сразу уехать не удалось. А как хотелось! И побыстрее! Я знал его интуицию. Дьявол всегда шептал ему вовремя.

Лозгачев принес еще чаю и любимое Кобой айвовое варенье. Коба преспокойно начал пить чай, не догадываясь, что это его последнее утреннее чаепитие. Пил и я.

Но в этот раз Дьявол молчал. Прозорливый Коба ничего не почувствовал. Впрочем, это бывало не с ним одним. Я слышал, что Распутин, часто предсказывавший чужую смерть, в ночь своей гибели был весел, без сомнений сел в автомобиль вместе со своим убийцей и поехал погибать. Сбои бывают и у Дьявола. Точнее, наступает миг, когда он не властен.

Выпив чаю, он приказал мне снова включить «устройство». Теперь он захотел прослушать свою дачу. В пристройке, где жили «прикрепленные», шло препирательство.

– Нет, унесите их, – звучал голос Валечки. – Иосиф Виссарионович хочет ходить в старых!

Видно, охранник принес новенькие валенки.

Голос кастелянши Бутусовой:

– Но его, Валюша, совсем развалились.

– Ноги у него больные, потому и хочет в старых, – объяснила Валечка.

Коба помрачнел, постучал ложкой о блюдец. Знал я, он сейчас думает: «Вот этого сообщать не следовало». Ничего о нем сообщать не следовало.

Валечка Истомина – старшая сестра-хозяйка, и не только. Она чистенькая, беленькая, хорошенькая. И всегда веселая, всегда в хорошем настроении. Ее привезли ему после смерти жены. Тогда ей было восемнадцать, теперь она приближалась к сорока. Старилась рядом с ним. Он редко говорил с ней. Она стелила постель. Ложилась в нее, когда он велел. И, должно быть, каменя от ужаса и почтения, отвечала на молчаливые ласки его короткого волосатого тела. И тотчас уходила *после...* Она часто плакала без причины, должно быть, от бабьей жалости к нему, одинокому старику. Тогда он молча вытирал ей слезы и строгим голосом гнал прочь.

Помню, в 1946 году, после того как он вернул меня из лагеря, Коба вновь позвал меня на Ближнюю дачу. Она пришла в Малую столовую, где мы с ним сидели, стелить ему постель. Он вдруг спросил ее:

– Люди рады победе?

– Рады! Ох, как же они рады! Все вас благодарят, Иосиф Виссарионович. Они ведь за вас умирали.

И он поцеловал ее. Впервые при мне. А может, вообще – впервые.

А она заплакала и смешно закивала.

– Иди, иди, – брезгливо сказал он.

Она торопливо ушла.

– Плачет, а почему – не поймешь, – сказал он хмуро.

Но возвращаюсь в последнее утро Кобы.

Когда он допил чай, *было одиннадцать тридцать*. На столе рядом с чайником я увидел книжку, которую он читал: Анатолий Франс «Последние страницы». Такое название меня порадовало. Он часто читал эту книгу теперь. Там был диалог, кажется, назывался «О Боге и Старости», весь исчерканный его пометами. Франс издевался над Богом. Коба радостно написал на полях: «Хи-хи!»

Он заметил мой взгляд.

– По-прежнему веришь? Знаю – веришь! Но если Он Всемогущий и Премудрый – зачем такая бессмыслица? В начале ты слишком молод, потом слишком стар, а между первым и вторым – ерунда, мгновенный промельк. Пора уходить, а ты не жил! «Кипит наша алая глу-

пая кровь огнем неистраченных сил...» И сколько бы ни сделал, все пожрет смерть... Вчера нашел письмо Бухарчика. Он там цитирует... – Коба прочел по бумажке, видно, выписал: – «Жизнь – это... комедиант, паясничавший полчаса на сцене и тут же позабытый; это повесть, которую пересказал дурак: в ней много слов и страсти, нет лишь смысла...» – Он повторил: – «Нет лишь смысла»... Не знал смысла и Бухарчик. Нет, если бы Бог был и был бы другой, *истинный* мир, зачеркивающий нашу жизнь в этом мире, было бы ужасно! Но если *там* ничего нет, это *еще ужаснее*... – И, опомнившись, он, как всегда, разозлился на свою откровенность: – Ладно, пошел на хуй!

(Забавно, в последнее время в разговорах со мной он часто вспоминал Бухарчика – так нежно называл Бухарина Ленин. И Коба теперь нередко говорил о нем – расстрелянном и опозоренном им Бухарине.)

Меня привезли домой в час дня. Когда я вошел в квартиру, жена побледнела:

– Что-то случилось?

– Нет, – ответил я. – *Еще* ничего не случилось.

Больше я ничего не сказал. И она, как положено хорошей грузинской жене, больше не спрашивала.

Поспал, в шесть проснулся. Надел чистое белье... Если что, к Господу следует являться в чистом, как учили нас с Кобой в семинарии.

Поел. В *восемь тридцать вечера* за мной пришла машина.

28 февраля. Последний вечер Кобы в Кремле

В девять вечера меня привезли в Кремль в просмотровый зал. Коба приехал с Ближней дачи чуть позже, сел рядом со мной. Берия – с другой стороны от него. Это был старый американский ковбойский фильм, захваченный в бункере Гитлера. Он шел на немецком, я добросовестно переводил.

Фильм закончился около одиннадцати. Коба обругал его, он был раздражен, видно, что-то заболело. Когда болело, он становился яростным, ненавидел всех.

После окончания картины вдруг развеселился (наверное, боль прошла). Посмотрел на меня, засмеялся:

– Ну и рожа... Старая, сморщенная. – Потом спросил: – А где же твои «Записки»? – (Я еще вернусь к моим «Запискам», которые не давали ему покоя.)

Я всплеснул руками:

– Забыл!

И Коба сказал *то, чего мы все так ждали*:

– «Записки» привезешь сегодня же на дачу, положишь в фельдъегерской рядом с почтой. И катись домой. Видеть тебя долго противно. Все думаю: неужели мы с тобой похожи?

Свершилось! Все происходило, как мы задумали! Я должен был радоваться. Но втайне я надеялся, что он НЕ прикажет мне приехать на дачу... и тогда *дело* отложится.

Прощание

В четверть двенадцатого он вышел из подъезда, окруженный охраной. Я – следом. Вдруг он остановился, долго смотрел на колокольню Ивана Великого. Заметил коменданту:

– Днем была туча воронья. Чтоб завтра – ни одной вороны. И тебя – вместе с ними. Пиши заявление. Не следишь за порядком.

Обычно он уезжал, не прощаясь со мной. Он уже давно держал меня вроде как за слугу. Но тут вдруг сказал:

– Прощай, Фудзи, – и сделал свой обычный приветственный жест рукой – то ли пома- хал, то ли отдал честь. Именно так он держал руку во время демонстраций.

Боже, как мне хотелось поцеловать его. Ведь обычно он целовал *перед*... В этот миг я понял, что даже поцелуй Иуды был всего лишь прощальным поцелуем Любви! Он, видно, почувствовал мою муку. И желтый огонь промелькнул в глазах. Он подозрительно посмотрел на меня. Но в моих глазах читалась только преданность верного слуги Вождю Кобе.

Далее все шло, как обычно: никто не знал, в какую из машин он сядет. Подойдя к выбранному автомобилю, он, как всегда яростно, отогнал от себя охранников. Это была одна из давних его игр: его охраняют вопреки его воле, а он, скромный человек, не хочет этого.

Он сел в машину.

И я тихо произнес:

– Прощай, Коба!

Черные машины выехали из Кремля. И, меняя друг друга, на бешеной скорости понеслись на Ближнюю дачу.

Как обычно, за ним отправились и постоянные ночные «гости» – Хрущев, Маленков, Берия и Булганин.

Я смотрел вслед уехавшим и боялся заплакать. Я старался вспомнить два своих ареста, лагерь, выбитые зубы, страдания моей несчастной семьи... Я хотел ненавидеть его, но не мог.

28 февраля. Возвращение на Ближнюю дачу

Около *половины двенадцатого* меня привезли домой. Я взял приготовленную рукопись «Записок» и поехал к Кобе на дачу.

Приехал туда *во втором часу ночи*, уже первого марта.

В вестибюле, оклеенном картами с пометками Кобы, на двух стоячих вешалках висела одежда. На одной – его маршальская шинель, подбитая, вопреки уставу, мехом, его штатская бекеша на лисьем меху, ушанка и армейская фуражка. На другой вешалке – шубы и ушанки «гостей».

Из Большой столовой неслись громкие голоса...

Я прошел в так называемую фельдъегерскую. Архитектор хотел сделать здесь библиотеку, но Коба оставил ее этакой «резервной» комнатой. Здесь стояли письменный стол и *огромный шкаф-гардероб*, где висели костюмы и мундиры Кобы, его любимые армейские фуражки. Сюда фельдъегери приносили почту из ЦК и оставляли ее на столе.

Я оглянулся и через вестибюль увидел открытую дверь в Малую столовую, а через нее – стол и на столе бутылку нарзана, приготовленную Валечкой на ночь. Я понял: сегодня он тоже будет ночевать в Малой столовой.

Но мне нужно было *начинать*.

Все, что произошло на Ближней даче той ночью, пропускаю.

После «той» ночи. СНЫ

На следующий день – *первого марта* – я крепко спал.

В десять утра меня разбудила жена – звонил Берия. Он сказал: «Поезжай к нему на дачу. Охрану я предупредил. Коба велел тебе приехать *в два часа дня*». И засмеялся. Торжествуя, засмеялся, мерзавец.

Но я чувствовал: он волновался.

Я очень устал после *той ночи* и решил еще немного поспать.

Когда-то моя самая странная знакомая, безумная поэтесса, сказала: «Только засыпая, мы можем по-настоящему вернуться в прошлое. Это самая удобная тропа в темную обитель, где прячутся дорогие тени...»

И в лагере я учился ходить по этой тайной тропе. В вонючей летней духоте лагерного барака и в ледяном зимнем холоде сны о прошлом спасали меня. Сколько раз, безнадежно пытаюсь согреться, я вспоминал раскаленный от солнца наш маленький городок.

И сейчас, засыпая, я увидел Кобу. Увидел его со спины... поникшей спины в маршалском мундире с подложенными ватой плечами. Увидел его сильно поредевшие совсем седые волосы...

Коба подошел к столу. Выдвинул ящик. И достал ту самую нашу с ним фотографию, на которой теперь оставался он один, а мы, замазанные, будто прятались в черных мешках. Я вспомнил: в мешках вешали в царское время. В детстве мы с Кобой видели такую казнь.

Он ткнул пальцем в один из мешков и тихонечко засмеялся:

– В этом мешке – ты.

Да, там *должен был* быть я!

Потом мне начало казаться, что я – это он. Что это я лежу на полу, и надо мной, Кобой, кто-то наклонился. Я чувствовал боль, но не было сил открыть глаза. Я хотел крикнуть, но язык не слушался. Я видел ножку стола и чьи-то сапоги у щеки. «Прикрепленный» Лозгачев наклонился надо мной... и пропал. И я ясно услышал голос Кобы:

– Не мучайся, лежи тихонечко, Фудзи. Это детство... Мать моет тебя, больно прикрывая твои глаза, чтобы мыльная пена не попала. Но она попадает, жжет – слышишь свой крик?

И я проснулся в поту. Я лежал в темноте комнаты... И опять заснул.

Теперь мы были вдвоем с ним в том детском раю. Мы бежали по самой длинной улице нашего городка. Когда-то этот маленький городишко посетил кто-то из Романовых. Улицу назвали Царской и потом конечно же переименовали (как тысячи тысяч главных улиц нашей бескрайней страны) в улицу имени товарища Сталина...

Шумно просыпается наш городок. В шесть утра во дворах появляются пастухи, кричат – забирают коров. На балкончики, хранящие утреннюю свежесть, выходят заспанные люди. Отпираются двери храмов, на утреннюю службу спешат женщины в черных одеждах. Вон они идут – моя мать и Кэкэ, мать Кобы. Из-под черного платка видны светленькие, рыжеватые волосы Кэкэ; иссиня-черные волосы моей матери сливаются с ее платком.

Люди торопятся жить, пока не наступила жара. Но это добрая жара, по которой так тоскуют наши с Кобой опухшие, старческие ноги.

...Маленький Коба. Тогда его звали Сосело, по-грузински – «маленький Сосо»... Я и Сосело бежим на Куру – смотреть, как проносятся по бурной реке плоты. Мы стоим, провожая глазами удалых, хохочущих плотогонов. И Коба все просит, все кричит: «Плотогон, плотогон! Перевези нас на другой берег!» Но они только хохочут и несутся мимо.

Знакомый водовоз подъехал на лошаденке и, тоже смеясь, набирает воду в кожаные мешки. Как все веселы в нашем раю!

– Дай нам попить твоей живой водицы, водовоз, – просит Коба.

Но водовоз не оборачивается. И мы глядим, как жалкая тощая лошадка увозит живую водицу...

И я опять вижу: старый Коба лежит на полу в своей комнате.

...Мы оба учимся в церковном училище. В лучах заходящего майского солнца двухэтажное здание – ослепительно-белое. Городская жара на улице и прохлада церкви. На втором этаже училища – наша церковь. В ней я впервые его увидел.

Та вечерняя служба. Мы оба – крошечные, облаченные в стихари, стоим на коленях, распеваем молитву. Я слышу наши высокие детские голоса. Открыты золотые Царские врата, священник воздел руки к небу. Боже, как уносится ввысь душа! Какой восторг! Какая радость!

– Ты слышишь? – шепчу я старому Кобе, лежащему на полу.

И мы с маленьким Сосо поем над старым Кобой «Покаянную молитву».

Его мать. Солнце падает на волосы, и они вспыхивают – рыжие, золотые. Но лица ее я не вижу. Только руку. Она держит ручку маленького Сосо.

Мама ведет Сосо в церковное училище. И я бегу за ними.

Мы идем по нижней части нашего городка. Здесь живут богачи – армянские, азербайджанские и еврейские купцы... Особняки прячутся в тени за высокими деревьями. Здесь живет и моя семья. Пока его мать будет мыть наши полы, мы с Сосо можем поиграть. Но я не хочу играть. Я смотрю, как Кэкэ моет пол. Наше пламенное солнце падает из окна. Золотые волосы вспыхивают и гаснут. Подоткнув юбку, она сгибается над корытом. Вижу ее загорелые ноги. Как они греховно волнуют меня!

И шепот маленького Сосо:

– Не смей смотреть, убью!

И Сосо бежит к матери, но она, не оборачиваясь, уходит, уплывает от него... летит, согнувшись над полом.

Мы пробираемся сквозь толпу на базаре. Здесь собрался весь наш маленький город.

Я кричу:

– Они все пришли! Все, кто давно умер. Они пришли встретить тебя, Коба!

И старый Коба, лежащий на полу, улыбается.

За нами, хохоча, припустил рыночный дурачок, юродивый. Он вопит:

– Сторонитесь, великий царь бежит! Берегитесь! Спасайтесь от этого царя!..

Сколько раз потом я вспоминал этот крик...

А мы все бежим по рынку... На улице портной снимает мерку. Посыпал золу на землю, заказчик улегся на нее. Портной сидит верхом на заказчике, прижимает его к золе. Теперь в золе – размеры заказчика...

А вот мой обедневший родственник – цирюльник. Выдергивает зуб большими щипцами. Вопит пациент. Вокруг толпа рыночных зевак. Цирюльник победоносно поднимает зуб в щипцах – показывает толпе.

– Наверное, так на гильотине палач показывал отрубленную голову, – хохочет маленький Сосо... и замолкает. Смех застрял в глотке. Навстречу – он.

Он загораживает нам дорогу – черный, низкорослый, худой. Лицо заросло бородой и усами, лоб съеден волосами, бешеные, желтые глаза.

Это отец Сосо – сапожник. Он продал на базаре свои сапоги и уже пьян.

– Дьяволенок! – кричит он сыну. – Выблядок!

Сосо очень похож на него, но отец выдумал, будто Сосо не его сын. Чтобы иметь право не давать в семью деньги. Деньги нужны ему самому – пить.

Он пьян всегда. Но вместо нашего, обычного, пьяного грузинского застольного славословия он грязно ругается и лезет в драку. (Да и откуда быть славословию, ведь он не грузин. Он осетин, переделавший свою фамилию Джугаев на грузинский манер – Джугашвили.)

Постоянный гнев сжигает этого человека, он кричит яростно маленькому Сосо:
– Убирайся домой, дьяволенок!

Я вижу крохотный домик Сосо. И на глазах жалкая лачуга одевается в мрамор. Гигантский мраморный павильон нависает над лачужкой.

– Это ты ведь придумал... – говорю я Сосо. – Чтобы место твоего рождения было украшено, как место рождения Христа.

Мы оба хохочем, и мрамор рассыпается от нашего смеха.

И, словно в детской сказке, вновь перед нами тот убогий домик. У входа сидит на камне – тачает сапоги – мрачный отец Сосо. Он непривычно трезв с утра и оттого ненавидит весь мир.

– Все как тогда, правда? – говорю я Кобе, лежащему на полу.

Но старый Коба молчит...

Мы входим в домик, я и маленький Сосо. В ту единственную комнатку, где они ютятся втроем – отец, мать и сын. Мы спускаемся в место наших детских игр, в прокопченный темный подвал. Скучный свет через окошечко подвала падает на деревянную колыбель, висящую в темном углу.

И наконец-то слышу голос его матери, мягкий, нежный – она хорошо пела.

– В этой печальной колыбели заливались криком двое его старших братиков. Обоих взял к себе в ангелы наш Господь. Только Сосо у нас выжил. В благодарность за дарованную жизнь он будет служить Богу.

– Я буду епископом, – шепчет Сосо.

– Нет, ты будешь простым священником, – шепчет мать. – Они ближе к Богу. Я стану приходить в твою церковь молиться.

И яростный гортанный хохот.

– Ха-ха, – покатывается его отец. – Хорош священник с дьявольским копытом! Он купаться у тебя не ходит. Покажи копыто! – Я вижу, как отец хватается ногу Сосо.

– Не надо! – кричит тот.

Но отец выворачивает его ножку, сдирает жалкий детский ботиночек. И показывает всему миру крохотную ступню Сосо со странно сросшимися двумя пальцами.

– Родила дьяволенка! – кричит отец. – Недаром Бог не хотел твоих выблядков. Двоих забрал! – он гогочет. – А она, упрямая, все-таки родила!

– Что ж ты срамишь нас! Ой, как стыдно, – шепчет мать.

– Мне священник говорил: «Родила сатану». – Дикае пьяные глаза отца. – Убить его надо! К его отцу, к сатане, отправить! – Он вытаскивает нож.

Мать хватается Сосо на руки. Золотые волосы развеваются на бегу. Она бежит с ним на руках. И я, маленький Фудзи, реву от страха, но бегу за ними.

Отец догоняет. Сейчас он вырвет его у нее. Вырвал. Сосо в его крепких, цепких руках извивается ужом. Отец, подняв его, с безумным смехом швыряет на землю.

Мать на коленях плачет над Сосо, обцеловывает его. Плачу и я.

Только Сосо не плачет. Молчит.

Я проснулся. В это утро, когда он умирал на даче, я жил в нашем детстве. И, лежа в темноте, продолжал вспоминать.

Я вспоминал тот особенный день. «День ножа». Нам тогда было уже по девять лет...

Отец пьяный подошел к дому. Мы с Сосо только что пришли из училища. Мать его Кэкэ собралась идти к нам, мыть у нас полы, а мы, как всегда, с ней.

Мы вышли во двор. Его отец стоял во дворе, был он совсем темен, видно, недопил.

– Ну что, еще одного выблядка пошла делать? Может, сначала мне этого придушить? – привычно замахнулся на сына.

Кэкэ молча ударила его. Сапожник оторопел. Потом опустил руку, чтоб выхватить сапожный нож из-за голенища. Но она опередила – ловко достала его нож, швырнула в траву. Они молча начали драться. От постоянной тяжелой работы она сильно окрепла. А он, наоборот, ослаб от непрерывного пьянства. Он никак не мог бросить ее на землю.

Она вцепилась в него, но, видно, уже из последних сил. И закричала нам:

– Бегите, бегите!

Но Сосо не побежал. Я и сейчас вижу, как он кинулся в траву. Нож в его руке сверкнул на солнце. И маленькая фигурка с ножом начала красться к дерущимся.

– Не надо... – шептал я. – Не надо! – уже кричал я.

Отец обернулся. Хмель прошел. Обернулась и мать.

Мгновение они оба, молча, смотрели на Сосо.

– Отдай, – сказала мать. – Сейчас же!

И Сосо отдал нож.

Евреи

Отец и сын – они мирно сидят у крылечка. Отец и сын, такие похожие друг на друга. Это бывало редко. Но если бывало, я знал, о чем они говорят... Отец учит Сосо ненавидеть богатых, ненавидеть моего богатого отца и особенно – богатых евреев.

Мать Сосо часто работает у еврейских купцов – обстирывает, убирает дом. С собой она часто приводит Сосо. Сердобольные евреи жалеют маленького Сосо. Тихонько суют ему деньги на сладости. Мать радуется их щедрости. Но Сосо... Он шепчет мне: «Ненавижу каждую их копейку, жида проклятые. Отец говорит, что они за свои деньги у матери... подол задирают. Ничего, придет день, богатых перережем!»

Я в страхе машу на него руками, а он смеется злым смехом своего отца.

...Мы идем в горы всем училищем. Нас ведет учитель – горский еврей.

Горная речушка перекрыла путь. Мальчики по колено в воде перешли ее. Учитель в сюртуке, в новеньких туфлях стоит в нерешительности. Дома меня учили чтить старших. Я вошел в воду, подставил учителю спину. Я невысок, но очень силен. На спине я перенес его.

Потом услышал за собой тихий голос Сосо:

– Ишак ты, что ли? Я самому Господу спину не подставляю. А ты подставил еврею. Ты что, забыл: они Христа распяли!

...Моя бабушка читает нам Евангелие. Удивленный голос Сосо:

– Ну почему Иисус разрешил себя убить? Ведь он все мог! Мог испепелить врагов огнем, как небесный дракон. Мог? Мог! И почему он не позвал своих друзей – ангелов. Ведь их был у него целый легион?

– Он и вправду все это мог, но не захотел, – отвечает бабушка. – Ведь Он пришел в мир искупить наши грехи. Он принес себя в жертву. Это искупительная жертва во имя нашего спасения. И твоего спасения.

– Но потом, когда Он вознесся на небо, почему не отомстил своим заклятым врагам – евреям?

– Он никогда никому не мстил. Он любил всех людей и жалел всех нас. Он на кресте просил Господа: «Прости им, ибо они не ведают, что творят».

– Такого быть не может, – шептал мне потом маленький Сосо. – Они нам что-то недоговаривают. Но мы отомстим евреям за Иисуса. И Он узнает на небе и, поверь, хорошенько нас отблагодарит. Ведь Он всемогущий!..

Сосо быстро придумал месть евреям. Но он боялся материнских затрещин. От трудной работы руки у нее становились с каждым днем все сильнее, все тяжелее. Все чаще беспощадными затрещинами она смиряла Сосо. И даже пьяница отец теперь сторонился ее. Потому исполнить месть Сосо благоразумно поручил мне и двум нашим верным друзьям... Мы тогда были неразлучны, четверо маленьких мальчиков – Петя, Гриша, я и Сосо. Мы называли себя «тремя мушкетерами». Но всегда исполняли то, что приказывал четвертый – наш Д'Артаньян.

Сколько раз я вспоминал ту нашу детскую месть... По приказу Сосо я начал копить карманные деньги (я получал их от отца; остальные мушкетеры, как и Сосо, были из бедных семей). На мои скопленные деньги Сосо послал меня, Петю и Гришу покупать свинью. Свинью мы спрятали у Гриши в сарайчике, где у них лежали дрова.

Сосо придумал отомстить евреям во время их праздника Пейсах.

Евреи собрались в синагоге. У дверей синагоги – ни души, все внутри. Сосо стоял на пригорке – руководил. Подал знак, и Гриша с Петей погнали нашу свинью к синагоге. Негодная свинья упиралась. Но они хлыстом ее, хлыстом!.. Пошла!

Я стою у синагоги, готовлюсь раскрыть дверь и впустить свинью к евреям. Сосо – по-прежнему поодаль, наблюдает с пригорка. Но проклятая свинья остановилась посреди дороги, уперлась, норовит повернуть и бежать обратно на рынок. Пришлось мне помогать. Теперь тащим ее втроем...

В самый главный момент мести я действую один. В дверь, раскрытую передо мною «мушкетерами», загоняю свинью в еврейский храм. Как только она исчезает там, пропадает с пригорка и Сосо. Бегу прочь и я с «мушкетерами»...

Меня, Гришу и Петю разоблачили в тот же вечер. Впервые в жизни меня порол отец. Еще хуже пришлось остальным. У них отцы были попроще, их пороли больше и дольше. Несколько дней мы не могли сидеть. Но Сосо не выдали.

Однако зверски выпороли и его. Дело в том, что мы очень похожи с ним. Мало того что мы одного роста, – у нас похожие лица. Нас всегда принимали за родных братьев. В довершение у нас у обоих рябые лица – мы оба переболели оспой в детстве, заразив друг друга. И если люди с рынка, продававшие нам свинью, указали на меня, то евреи в синагоге, видевшие меня в дверях, перепутали меня с Сосо.

Вечером православный священник объявил прихожанам в церкви: «Среди нас оказались заблудшие овцы, которые свершили богохульство в одном из домов Бога». И назвал имена нас четверых. Мать Сосо, узнав о поступке сына, впервые позволила отцу расправиться с ним.

С детства я почему-то не мог противоречить Сосо. Безропотно подчинялись ему и двое других «мушкетеров»: маленький Гриша и огромный Петя, самый сильный мальчик в округе.

Мы участвовали вместе во всех драках с ребятами из нижнего города, где жили дети богачей. Обычно план разрабатывал Сосо. А мы исполняли.

– План готов, – объявлял важно Сосо. – Ты, Гриша и Петя набрасывайтесь на противника внезапно из засады. Лупите беспощадно. Пока не подспею я. А я подспею вовремя...

И вот враги безмятежно идут по улице. Мы ждем их в засаде. Свистит Сосо, и мы набрасываемся на противников... Деремся все упорнее. Мне уже разбили нос, течет кровь. Но в самый решающий момент появляется Сосо. Набрасывается сзади на спины врагов с ужасным, гортанным криком. И враг бежит!..

Я говорю старому Кобе, лежащему на полу:

– Ты сохранил привязанность к нашим друзьям. Спасибо тебе за то, что в голодные годы Отечественной войны исправно посылал деньги Пете и Грише. Мне, правда, ты ничего не посылал. Меня ты всю войну продержал в лагере...

И только тут я окончательно проснулся. Вскочил в какой-то испуганной спешке с кровати. Но оказалось, что всего одиннадцать утра. Я мог еще спать. Мне нужно было поспать после *той ночи*, ведь неизвестно, что предстоит сегодня.

Я заставил себя лечь... И лежал в полудреме. И вспоминал еще один *особенный день*...

Нам уже было тогда по четырнадцать лет. Я отчетливо помню голос его отца в тот день. Слышал их обычную перебранку с матерью:

– Митрополитом хочешь сделать выблядка! В семинарию определила. Нет уж! Работать он пойдет. Вот я читать и писать не умею, а вас содержу. – Он схватил ее шкатулку, всегда стоявшую под иконой... Резную шкатулку из ее родительского дома. Выгреб ассигнации, смял в кулаке.

– Положи на место. Не твои! Свои ты уже пропил. Эти заработала я!

– Ты как говоришь с мужчиной? Чем заработала? Пиздою? Но она тоже принадлежит мне!

Они уже стоят во дворике дома у зарослей кустарника. Матерясь, отец засовывает ассигнации в карман... Она молча ударила его в пах крепким кулачком.

Он согнулся. А когда разогнулся – в руке, как всегда, нож из сапога. Но она все так же молча бросилась на него, выкрутила руку. И нож полетел в кусты.

Отец сидел на земле и пьяно плакал:

– Все равно прирежу. И тебя и его...

Я заметил, как метнулась в кусты фигурка Сосо.

...Через неделю мы встретились с Сосо у реки. Он сидел на берегу и ловко бросал отцовский нож в дерево. Нож впивался в кору.

Он засмеялся:

– Отец долго искал его, убить нас хотел им. Меня и мать. Теперь другой нож покупать придется... Сапожничать. – На лице Сосо блуждала задумчивая полуулыбка. Я часто видел ее потом, когда некая опасная мысль начинала бродить в его голове. Точнее – страшная мысль. – Мать говорит: надо прощать. Дескать, крест он для нас, следует терпеть, нести его. – И опять полетел ножичек в дерево. – А я не ишак. Я этот крест носить на себе не буду.

Именно тогда, бросая нож в дерево, он в первый раз сказал мне:

– А если никакого Бога нет? И никакого креста нести не нужно! Если человек *совсем-совсем* свободен?

Через несколько дней Сосо сообщил мне печально:

– Отец исчез. Неделю как не появляется дома. И никто его не видел. Мать ходит по трактирам, разыскивает. Дружок его, такой же пьяница, говорил, будто слышал, что он уехал в Тифлис и там зарезали его в пьяной драке. Жаль его, и мать убивается. Какой-никакой, а все-таки отец!

Рождение Кобы

За несколько дней до *этой судьбоносной ночи* он вдруг спросил:

– Что ты думаешь о смерти?

– Я вообще о ней не думаю.

Так я ответил. На самом деле тогда, благодаря ему, я думал о ней каждый день.

– Помнишь, еще в училище, – продолжал Коба, – мы учили: «Решился я в сердце своем исследовать и испытать разумом все, что делается под солнцем: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, *чтобы они мучили себя...*» Бухарчик как-то привел мне чью-то цитату... он был мастер умных цитат: «Смерть есть жизнь, а жизнь – это и есть смерть». Ты ведь тоже когда-то верил, что *там* есть истинная жизнь.

– Но ты мне помог, Коба, в *тот день...*

Тот день в семинарии... Мы выходили из церкви, и он вдруг прошептал мне:

– Бога нет, они надули нас.

Именно после этого он дал мне почитать удивительные книги, где доказывалось, как дважды два, что никакого Бога нет. И это он привел мне тогда слова моего любимого писателя Чехова: «Я с изумлением смотрю на всякого верующего интеллигента». И, погибая от кошунства, от собственной смелости, мы шептали во время богослужения: «Бога нет... Нет никакого Бога!» И потом хохотали.

Если вы напишете книгу о Кобе, я хотел бы, чтобы вы процитировали некоторые мои мысли. Это мысли бывшего семинариста о том, почему из стен нашей Тифлисской семинарии вышло столько революционеров! В чем была шутка дьявола!

Тот Тифлис, залитый солнцем. Новый мир, который так потряс всех нас, мальчишек, приехавших сюда из заштатных грузинских городков и сел. Тифлисская дневная улица – важный грузин в черкеске, за ним слуга несет корзину с покупками, музыканты-зурначи, удалые кинто, уличные торговцы, которые всегда навеселе... Эту шумную веселую дневную жизнь мы видели, но ту, ночную, только представляли. Буйную пьяную толпу, валившую после полуночи из кафе, ресторанов и запретных для нас театров.

Мы жили, отделенные стенами от полного соблазнов огромного южного города. Суровый, аскетический дух служения Господу царил в семинарии. Раннее утро, когда так хочется спать... Но нельзя! Надо идти на молитву. Торопливое чаепитие, долгие классы, опять молитва, затем скудный обед, короткая прогулка по городу... И уже закрылись ворота семинарии. Ворота нашей тюрьмы. В десять вечера, когда город только начинал жить, мы уходили ко сну после молитвы. Арестанты, которые без всякой вины должны проводить в тюрьме лучшие годы. Многие из нас, пылких, рано созревших грузинских юношей, совсем не были готовы к такому служению. Поцелуи в ночи... женская грудь... обнаженное женское тело, которое ласкают там, во тьме, – вот о чем мы грезили, засыпая.

С каким восторгом мы узнали о совсем ином учении, открывавшем для нас совсем иные пути. Его привезли в Тифлис русские ссыльные. Старшие мальчишки рассказали о нем... Марксизм! Насколько близки нам оказались марксистские идеи. Как и первые христиане, марксисты осуждали погрязший в корысти и наживе мир. То же жертвенное служение угнетенным, презрение к богатству, обещание царства справедливости с воцарением нового Мессии – Всемирного пролетариата. Все это совершенно совпадало с нашим религиозным воспитанием. Отменялся только далекий и призрачный Бог. Но взамен мы получали целый мир, где могли жить, как хочется, могли наслаждаться плотскими утехами. И наконец, отменялось столь малопонятное нашему возрасту «добром отвечать на зло». Напротив, нам, сынам воин-

ственного народа, даровалось право быть беспощадными к врагам нового Мессии. Вопрос маленького Сосо: «Почему Иисус не вынул саблю?» – был разрешен. И как заманчиво звучало для нищего и гордого Сосо и для других детей бедняков великое обещание нового учения: «Кто был ничем – тот станет всем». Обещание Революции.

Теперь мы с Сосо зажили увлекательной двойной жизнью. Утром и днем молились Богу, вечером, убежав из семинарии, на тайных сходках мы его ниспровергали.

Но эта двойная жизнь закончилась в *тот день*. Новый ректор семинарии епископ Гермоген, будущий знаменитый враг Распутина, обнаружил у Сосо запрещенные книги.

Нас выстроили во дворе. Сосо поставили перед строем.

– На колени! – закричал Гермоген. – Кайся!

Но Сосо молчал, пристально глядя на огромного Гермогена.

И тут Гермоген снял с груди золотой крест и им плашмя ударил Сосо по голове. Истошно, страшно завопил:

– Дьявол, изыди!

Сосо не пошевелился.

– На колени! – проорал Гермоген и... вдруг застыл с занесенным над Сосо крестом.

Сосо стоял недвижно и неотрывно смотрел на Гермогена. Я до смерти буду помнить трясущегося от бешенства, огромного толстого монаха и маленького Сосо, в упор глядящего на него.

Гермоген вдруг как-то сник. Еле слышно, хрипло закончил:

– Может, у нас еще есть любители читать поганые книжки?

Сосо только взглянул на меня. Даже не поняв, что делаю, я шагнул вперед...

Из семинарии нас исключили обоих. В это время Сосо уже был революционером. Вступил в подпольный кружок марксистов. Стал революционером и я, но по его приказу. В который раз сделал то, что хотел он.

Надо было придумать себе революционную кличку. И, пока я раздумывал, Сосо вспомнил японский меч, висевший в нашем доме. (Отец мой, купец, торговал японскими товарами. Этим самурайским мечом я по-детски гордился.)

– Ты так им восторгаешься, что даже узкоглазым становишься. – Сосо прыснул в усы (он стал носить в это время бородку и усы, как все настоящие революционеры). – Ты у нас совсем япошка. Чистый Фудзияма... Я, пожалуй, буду звать тебя сокращенно – Фудзи.

Это и стало моим революционным именем. Хотя прозвище Фудзи мне не очень нравилось. Но постепенно я к нему привык.

Себе Сосо взял кличку Коба. Это был герой знаменитого грузинского романа – грузинский Робин Гуд, бесстрашно грабивший богатых.

И я сказал ему:

– Моя кличка мне не очень нравится, а вот твоя – замечательная.

Он помолчал и вдруг спросил с усмешкой:

– А ты не забыл название романа?

И я... вспомнил!

– Ну что молчишь? – как-то зло спросил Коба.

Должно быть, ужас был в моих глазах.

«*Отцеубийца*» – так назывался этот роман.

Коба сказал:

– «Отец» – нелепое слово для революционера. Помнишь, как нас учили попы: «Христу говорят: “Мать и братья зовут тебя”». А он показывает на учеников-соратников: “Вот братья мои и вот мать моя...”»

...И я снова видел, как маленький Сосо сидит у реки и просит проносящихся плотогонов: «Плотогон, плотогон! Перевези меня на другой берег!» А я сижу на том, другом берегу. И все зову Сосо. Тщетно зову.

Потому что маленького гордого, наивного и злого Сосо уже нет.
В те дни родился беспощадный революционер Коба.

Я вновь проснулся от мерзкого звона.

Было *двенадцать часов* дня. *Первое марта*. Звенел будильник. Надо мной стояла жена. Приехала машина с шофером от Берии. Надо было одеваться, ехать на Ближнюю дачу...

Я приехал туда в *четверть третьего*. Знакомая утренняя картина: «прикрепленные» сидели в кухне, пили чай. Коренастый Лозгачев что-то рассказывал такому же коренастому Старостину. Старостин был старший «прикрепленный». Он появился на даче в десять утра – сменил уехавшего домой спать другого старшего «прикрепленного», Хрусталева.

Сейчас Лозгачев (в который раз) обсуждал со Старостиным невероятное распоряжение Хозяина. Оказывается, в пятом часу утра, проведив «гостей», Коба велел всем «прикрепленным» идти спать. «Вы мне больше, – говорит, – сегодня не понадобится, идите спать... Я тоже пойду».

– Никогда такого не бывало! – удивлялся Лозгачев.

– Не бывало, – соглашался старший «прикрепленный» Старостин. – Говоришь, он был хороший?

– Очень хороший, добрый, ласковый был...

– Значит, ничего не болело, – рассудительно сказал Старостин.

– Это точно, когда болит – лучше не подходи! – подтвердил Лозгачев.

Заговорили они о здоровье Кобы неспроста. Обычно Коба просыпался в десять-одиннадцать часов. Сейчас заканчивался третий час пополудни, но звонка из комнат все не было. Наружная охрана, которой они при мне звонили дважды, отвечала, что в комнатах «нет движения».

Думаю, у них у всех уже зашевелилась *эта мысль*. Но никто не смел произнести ее вслух. И сейчас они успокаивали друг друга.

Лозгачев сказал весело:

– Видать, хороший у него сегодня сон.

Все старательно засмеялись. И продолжили чаевничать. Я выпил с ними чаю.

Часы пробили половину четвертого, но Коба по-прежнему спал! И снова Старостин позвонил наружной охране. И опять услышал уже раздраженное: «Нет движения!»...

Я прошел в свою комнату. В ней я ночевал, когда оставался на даче. Комната находилась здесь же, в пристройке для «прикрепленных», рядом с кабинетом бывшего начальника охраны Власика, недавно арестованного. (Кабинет Власика пустовал. После его ареста там появлялись и быстро исчезали исполнявшие его должность: никто не нравился Кобе. Наконец Коба остановился на полковнике по фамилии Новик. Но накануне, как я уже написал, Новик попал в больницу – приступ аппендицита.)

Я запер свою дверь, подставил под люстру стул и влез на него. Нажал кнопку на люстре, и «включилась» Малая столовая. Я услышал ровный храп Кобы. Тотчас выключил. Все шло по плану. Он спал. Я знал: он *крепко* спал.

Я лег на кровать. Теперь я мог спокойно продолжать вспоминать нашу жизнь – мою и его. Хотя было страшновато вспоминать ее здесь и сейчас.

Но я ведь подводил итоги. Это было вроде некролога.

Когда нас исключили из семинарии, мы оба устроились работать в обсерваторию. В нашу нехитрую обязанность входило снимать показания приборов. Точнее, снимал их я,

а Коба готовил забастовку. Кровавую забастовку в портовом городе Батуме. Он мне сказал уже тогда: если не будет много крови, не будет и Революции...

В обсерватории мы оба встретили двадцатый век. Все ушли праздновать – встречать новое столетие. Приближалась новогодняя полночь, когда Коба предложил мне проникнуть в зал, где стоял телескоп, и посмотреть на звезды в этот особый миг смены столетий. Я отказался, он ушел... Вернулся какой-то странный.

Я все надоедал ему с вопросами, что он там увидел. Но он молчал. И тогда я засмеялся и спросил:

– По-моему, веришь в звезды, марксист?

Ответил он странно:

– Когда астрологи гадают людям по звездам, они лгут. Звезды не имеют отношения к обычным людям. Но к Цезарям – имеют...

В нашей маленькой комнатке в обсерватории мы устроили склад прокламаций и запрещенных книг. Однако на нас донесли, и в обсерваторию нагрянула полиция. Кобе повезло – он ушел буквально за час до обыска. Арестовали одного меня.

Это была моя первая тюрьма. Но мой отец за взятку добился освобождения.

Коба в те дни перешел в подполье. Одно время он жил в развалинах средневековой крепости, стоявшей на горе над нашим Гори. У крепостных ворот лежал странной формы камень – огромный, абсолютно круглый каменный шар. У нас его называли мячом Амирана. Амиран по кавказским поверьям – гордый, злой дух. Этаким кавказский Прометей, прикованный на вершинах наших гор. Но только кровавый Прометей. Восставший против Бога Амиран истреблял послушных Богу людей. По преданию, он играл этим камнем, как мячом, и, играя, убивал.

Раз в году, в ноябре, стерегущие его ангелы засыпали. И тогда Амиран пытался разорвать оковы и уйти в мир с вершины скалы. По древнему обычаю в ноябрьскую полночь весь наш маленький городок высыпал на улицу будить уснувших ангелов. С южной энергией люди отчаянно колотили кто во что горазд: по тазам, по медным чайникам. Возглавляли какофонию городские кузнецы. Всю ночь они усердно били по наковальням. Колокола церковью угрожающе ревели...

Именно в ту опасную ноябрьскую ночь я должен был передать Кобе фальшивый паспорт. Мы договорились встретиться у камня Амирана. Крадучись, я поднялся в развалины, тихонечко свистнул. Свист мой потонул в громовом ударе. Начиналась гроза. И в свете молний я увидел у страшного камня ухмылявшегося Кобу.

Я протянул ему паспорт...

– Говорят, отец за взятку тебя освободил, – сказал он с презрением. – Эх ты! Арест и тюрьма – мечта настоящего революционера. Только арест дает нам возможность выступить на суде, на людях обличить строй.

Я возмутился:

– Но ты почему-то на свободе!

И тогда он начал говорить. Я никогда не забуду, как он говорил в грозных сполохах:

– Запомни! Революционер – человек обреченный. У него не может быть *своих* дел, *своих* чувств и даже *своего* имени. Запомни. – Его указующий палец надавил мне на грудь. – Мы порвали все связи с общепринятой моралью. Нравственно для нас только то, что поможет торжеству Революции. Безнравственно, преступно все, что мешает. И поэтому для пользы Революции должны существовать революционеры первого и второго разрядов. Первые распоряжаются революционерами второго разряда, как своим капиталом, который они могут тратить на нужды Революции. И если революционер первого разряда считает, что надо пожертвовать свободой, даже жизнью революционера второго разряда, он волен

это сделать. Тот, другой, должен принимать это и почитать за счастье. Поэтому я, революционер первого разряда, подготавливающий сейчас стачку рабочих в городе Батуме, обязан быть на свободе. А ты, если сочту нужным во имя Революции, пойдешь в тюрьму...

Самое удивительное – я смолчал. Сказать, что я не чувствовал себя униженным, было бы неправдой, но я молчал, будто парализованный взглядом горящих желтых глаз. Клянусь, его глаза сжимали меня железным обручем.

Мы обнялись. И, стоя под черным небом, освещаемый молниями, он начал читать мне свои стихи:

– Там, где раздавалось бряцание его лиры,
Толпа ставила фиал, полный яда, перед гонимым
И кричала: «Пей, проклятый!
Таков твой жребий, твоя награда за песни.
Нам не нужна твоя правда и небесные звуки!»

Эти стихи, и тот монолог, и ту грозу, и его глаза я до смерти не забуду. Не забуду его яростное лицо, освещенное молнией и... глазами! Это и был истинный Коба. Мой друг – барс Революции.

(Правда, потом я прочел все эти грозные слова про «обреченного революционера» у революционера беспощадного – Нечаева. Оказалось он написал их в своем «Катехизисе Революционера». Узнал я об этом только через много лет. Но автором стихов был он сам, мой друг Коба. Отличных яростных стихов. Их напечатал в своем журнале король наших поэтов, великий Чавчавадзе, и я гордился своим другом.)

Коба закончил читать, и в этот миг сверкнула очередная молния. Снизу, из нашего городка послышался грохот. Люди начали будить заснувших ангелов. Оглушительная какофония заглушила удары грома.

– Стучат, дураки-мудаки, – захохотал Коба. – Боятся, что придет Амиран, жалкие, трусливые людишки!

Я смотрел вниз на освещенный факелами город, но, когда поднял голову... Кобы уже не было! Он исчез! Помню, почти в испуге я звал его: «Коба! Коба!..»

В странной панике, под грохот, доносившийся снизу, я бежал с горы. Дважды упал, споткнувшись, вставал и... бежал, бежал!

Я тогда не понял, как, впрочем, и весь наш маленький городишко, что стучали тщетно – страшный Амиран уже ушел в мир со скалы.

Коба и власть

Второй раз меня арестовали почти одновременно с Кобой. Помню, как в крохотном тюремном дворе я увидел его во время прогулки. Мы обнялись.

– Ты, наверное, подумал тогда, что я дружу с духами, – прыснул в усы Коба. – Какие вы глупые люди! Какие суеверные. О, род человеческий! Я попросту лежал на животе за огромным камнем Амирана и хохотал. Вот так же нас обманывают чудесами священники...

Это была азиатская тюрьма: садисты-надзиратели, ужасающая грязь, абсолютное бесправие политических. Уголовники издевались и били нас при молчаливом покровительстве тюремщиков.

Я был невысок, но силен, как бык. И когда один из них посмел ударить меня, я преспокойно сломал ему руку. Ночью они пришли ко мне в камеру скопом. Утром я лежал в тюремной больнице зверски избитый, порезанный ножом. (Самое смешное – на прогулке они сначала набросились на Кобу, уж очень он похож на меня. Но вовремя спохватились, к его счастью.)

И тем не менее жить в тюрьме было можно – к нам приходили друзья под видом адвокатов, мы легко прятали в камере запрещенные книжки, передавали письма на волю. Причем письма носили за деньги... наши охранники! Да и в ссылках тогда жилось неплохо. Впоследствии Ленин, смеясь, рассказывал, как он пожил в ссылке в свое удовольствие, писал, охотился и даже женился там.

Коба хорошо запомнил: царская тюрьма и ссылка при всех издевательствах никого из нас не сломала. И мой друг Коба, прошедший всю свою молодость в ссылках и бегах, это учтет. Его тюрьма и его ссылка будут совсем другими...

Первая власть в азиатской тюрьме – деньги. Но у нас с Кобой их не было. Проклявшие меня родители денег не присылали... Но имелась и вторая власть – уголовники. Ее боялись все, даже наши тюремщики. Коба первым из нас, политических заключенных, последовал заповеди великого революционера Нечаева – соединился с разбойничьим миром. Сын нищего сапожника, матерщинник Коба быстро нашел общий язык с уголовниками.

Его новые знакомые уважали физическую силу. Он ею не обладал. Но, привыкший с детства к побоям, он сумел показать большее – презрение к силе.

Это случилось в пасхальные дни. Мы, политические, были атеистами и Пасху демонстративно не отмечали. Начальник тюрьмы решил преподать нам урок. В тюремном дворе выстроились в два ряда солдаты. Пятерых политических, особенно досаждавших начальнику «законными требованиями», построили в ряд. Среди них был Коба. Под ударами прикладов они должны были пройти сквозь строй.

Все население тюрьмы – политические и уголовные – собрались в тюремном дворе. Нам надлежало стать зрителями поучительного зрелища.

И началось.

Трое политических прошли половину пути и были унесены на носилках в госпиталь. Еще один, едва начав путь, упал и под хохот уголовных отправился в тот же госпиталь.

Коба шел последним. Он вышел с учебником немецкого – он тогда учил этот язык, решил читать в подлиннике Маркса. Помню, начальник крикнул ему: «Убери книгу!»

Будто не слыша, Коба с открытой книжкой двинулся сквозь строй. Не опуская головы, держа книжку перед собой, шел он под ударами прикладов. Миновав последнего солдата, он спросил начальника тюрьмы, стоявшего в конце строя:

– Прикажете повторить, господин начальник? – и взглянул на него страшными желтыми глазами.

Тот как-то съежился, махнул рукой и в странном отчаянии торопливо пошел, почти побежал прочь.

Как и в училище, в семинарии, в подпольном партийном Комитете, Коба захватил власть и в тюрьме. Матерых бандитов подчинила странная сила, исходившая от моего друга, маленького рябого Кобы с желтыми глазами.

Ленин и кровь

Коба мечтал о скорой Революции, свято верил в нее. Но старики-марксисты (то есть тридцатилетние), сидевшие с нами в тюрьме, объясняли: «Маркс велит нам ждать, пока вырастет, станет могучим наш Мессия – русский пролетариат. И только тогда может свершиться подлинная Революция».

Коба ненавидел споры с «умниками» – так он называл этих старых, великолепно знавших теорию марксистов. Но еще больше он ненавидел ждать. Коба никогда не соглашался с тем, что не совпадало с его желаниями. Он говорил мне:

– Неужели Маркс, великий человек, написал такую глупость!? Не верю!

Считалось, что отца коммунизма истинные революционеры должны читать в подлиннике. Он немедленно начал изучать немецкий, чтобы прочесть Маркса и посмеяться над «умниками». Умники дали ему учебники, усердно занимались с ним. Он очень старался, но немецкого так и не выучил. Немецкие слова тотчас вылетали из его памяти, будто их там и не было. Он был туп к языкам. Но в его жизни всегда происходило одно и то же: свою неудачу он считал чужой виной. Он сказал мне:

– Мерзавцы подсунули не тот учебник, они нарочно плохо учат. Они боятся моей встречи с Карлом Марксом...

Именно в это время Кобе повезло: он нашел истинного Учителя. Учитель, к его счастью, написал свою книгу на русском. Его звали Ленин. Книга называлась «Что делать?». В ней Ленин совсем по-другому трактовал Маркса. И вскоре Коба сообщил мне, яростно сверкая глазами:

– Я был прав! Они обманули. Ленин учит: ждать не нужно! Маленькая группа героев сможет взять в свои руки власть. Надо лишь захватить столицу. Остальные подчинятся! Россия – страна рабов. Здесь одному приказать: «Трогай!» – и все поехали! Но для этого, учит Ленин, надо сначала создать подпольную, тщательно законспирированную партию. Партия – это архимедов рычаг, который опрокинет поганую Империю!..

И он тотчас приступил к действию: начал строить партию в тюрьме. Партию из уголовников.

Он терпеливо объяснял бандитам на прогулке:

– Зачем воровать жалкие крохи у богачей? Забудьте о воровстве. Вступайте в новую партию. После ее победы вы, угнетенные, получите все! Мы отнимем награбленное богачами у трудового народа. Мы будем грабить награбленное!

Это уголовникам было понятно. И они вступали в партию Кобы. Он назвал ее «Народная расправа» – в память о любимом Нечаеве. Как он был счастлив, когда кто-то рассказал ему, что Ильич тоже восхищается Нечаевым.

– Вот! – говорил он мне. – Наши умники брезгают Нечаевым, потому что боятся крови. Нечаев учил: Революция – это кровь, беспощадное разрушение. Все дозволено, что на пользу Революции! И Ленин учит так же. Они скрыли от нас и про Нечаева, и про кровь, и про «все дозволено»!

Да, Нечаев был отвергнут в это время просвещенными революционерами.

От Кобы я с изумлением услышал его биографию. Скажу честно, она заворожила меня. Когда Нечаева посадили в Петропавловскую крепость, к нему в камеру пришел шеф жандармов. Пришел унижать.

– И что сделал Нечаев? – шептал Коба. – Отгадай, дорогой! Не сможешь! Он дал пощечину шефу жандармов, царскому генералу! И так посмотрел на него... – Коба посмотрел на меня желтыми, страшными глазами. – И под взглядом Нечаева шеф жандармов с побитым лицом... опустил перед ним на колени! Такая революционная сила была в этом чело-

веке. Он был настоящий... Он не владел имуществом, ночевал по квартирам знакомых, прямо на полу... Даже «умники» мне рассказывали: «У каждого из нас что-то было, у него – ничего». У него была одна мысль, одна страсть – Революция. И одна ненависть – к существующей жизни. Он учил, и мы с тобой должны запомнить это: «Право революционера действовать любыми средствами – шантаж, убийство!» Он так и написал: «Правительство в борьбе с революционерами не брезгует ничем и, главное, иезуитскими методами провокаций, почему же мы боимся?» Когда один из жалких ублюдков спросил Нечаева: «Стоит ли убивать царя?» Он ответил: «Убивать нужно не царя, а всю ектинью». – (Ектинья – молитва за царскую семью с перечислением всех ее членов, которую мы постоянно пели в семинарии.) – Это Нечаев открыл: малочисленная организация при железной дисциплине сможет захватить страну. Именно такую партию создает сейчас Ленин... Ильич поднял упавший нечаевский факел. В основе такой партии должно быть беспощадное подчинение. – Эту мысль Коба повторял и повторял. – Такую партию легко создать в России. Может быть, ее можно создать только в России. Покорность, – шептал он, – в самой душе вечно бесправного русского народа. В ней огонь и кровь крестьянских бунтов. Главное в Революции – кровь! «Дело прочно, когда под ним струится кровь!» Учи заветы Нечаева!

Коба дал мне тетрадь. Всю ночь я читал яростные нечаевские слова, переписанные старательным почерком Кобы: «Денно и ночью должна быть у революционера одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. Стремясь к этой цели, он должен сам погибнуть или погубить своими руками все, что мешает ее достижению. Мы должны соединиться с лихим разбойничьим миром, истинным и единственным революционером в России...»

Создав свою партию в тюрьме, Коба стал важен. Он говорил теперь с «умниками» не о Марксе – о Ленине.

– Ленин, – заявил он им во время очередного диспута, – учит нас: «Никаких дискуссий, никакой свободы мнений в партии, желающей захватить власть, быть не может. Мы – боевая организация, ставящая целью Революцию. Такая же, как орден меченосцев».

Когда «умники» посмели ругать «диктаторские привычки лысого Робеспьера» (так называл Ленина кто-то из них), Коба только улыбнулся. И сказал мне:

– Пора научить истине.

В дело вступили мы: группа уголовников и я, друг Кобы.

Все оказалось легко. Мы напали на «умников» во время прогулки. Когда били политических, охрана становилась слепой. Мы били их жестоко. Главного «умника» – марксиста, к восторгу начальства, забили до смерти. До сих пор помню, как, харкая кровью, он прохрипел мне:

– Когда-нибудь ты вспомнишь, что обоих – тебя и его – я проклял!

Я расхохотался ему в лицо!

Коба сказал:

– Он был обыватель. Он не был революционером. Но все-таки его жаль. Такой умный, начитанный – и так заблуждался...

Кобу отправили в ссылку. Его сковали прямо во дворе ручными кандалами с другим социал-демократом – Алешой Сванидзе.

Алеша Сванидзе был очень хорош собой – невысок, но отлично сложен, светлые волосы, аккуратный нос с горбинкой, щегольские черные усики и удивительно нежные, светло-голубые глаза.

В паре с ним – такой заурядный Коба с ненавидящими желтыми глазами.

Если бы знала эта кандальная пара предстоящие игры Судьбы... Сестра Алеши Сванидзе станет первой женой Кобы. Так что скованы были будущие родственники. И будущие убийца и убиенный. Потому что Коба расстреляет Алешу Сванидзе, нашего общего с ним дорогого друга...

– Надеюсь, больше не увижу твою рябую харю, – сказал ненавидевший Кобу начальник тюрьмы. – Пошел вон! – И дал ему сапогом пинка под зад... Он боялся Кобу и рад был, что избавляется от него.

Коба только улыбнулся. Мне была знакома эта его загадочная улыбка, от которой мороз пробегал по коже... Он ответил начальнику:

– Надеюсь, кацо, скоро не увидишь не только меня.

Через три дня начальника нашли у дома с перерезанным горлом. Это был прощальный привет от Кобы. Точнее, «партийный взнос» его друзей-уголовников.

Потом отправили в ссылку и меня. Из ссылки я бежал. Возвращаться в Тифлис, где меня знала каждая собака, было нельзя. Некоторое время я жил в Петрограде.

Летом 1903 года отец смилостивился, прислал мне деньги. Я бежал за границу в Брюссель. В Брюссель съехались тогда все звезды русской социал-демократии – то есть четыре десятка человек.

Сняли небольшой и, главное, недорогой сарай, где и развернулось историческое действо. Пока молодые участники расставляли стулья в зале, я прикрепил на дверь сарая вывеску: «Учредительный съезд Российской социал-демократической рабочей партии».

Вот так в июльский очень жаркий день четыре десятка человек в брюссельском сарае основали партию, которой предстояло изменить историю человечества.

Одним из первых приехал на съезд на велосипеде лобастый господин в котелке. Поставил велосипед, прошел в зал. Господин был лыс, с жалкими рыжеватыми остатками волос над висками...

Барственный Плеханов, знаменитейший русский марксист, сидел за столом – председательствовал. Напротив в первом ряду и устроился лобастый господин. О чем бы ни говорил Плеханов, лобастый, сверкая лысиной и узкими калмыцкими глазками, вскакивал оппонировать... Это и был знаменитый Ленин.

Плеханов волновался, злился. Он приготовился к почитанию, Ленин – к борьбе. Помню, как Ленин кричал, яростно картавя: «Мы, якобинцы, строим здесь партию будущей, кровавой Революции, которая захватит власть. Партию нового типа». Он потребовал жесткой централизации в будущей партии, беспощадного подчинения руководству. «Как положено в армии, в бою!»

– А как же дискуссии, милостивый государь? – В глазах Плеханова искреннее изумление.

– Дискуссии в армии? Дискуссии в бою? Какая буржуазная чепуха!

И восторг на наших лицах – лицах молодых. Ленин был блестящий политический боец. Во время голосования по одному из пунктов плехановцы получили меньшинство, и Ленин, к нашему восторгу, прилепил им презрительную кличку «меньшевики», с которой они и вошли в историю. Себе и нам, своим сторонникам, взял уважительное имя «большевик».

Вот так сразу Ильич сумел расколоть только что созданную партию. Объединил во фракцию своих сторонников и стал нашим Вождем.

В перерывах Ленин разговаривал с молодыми – вербовал союзников.

Именно тогда я рассказал ему о его фанатичном почитателе Кобе. Но мне показалось, что, увлеченный борьбой, Ленин плохо слушал меня.

Вскоре я узнал, что Коба тоже бежал из ссылки. К моему изумлению, он не побоялся вернуться в Тифлис. Революционеры, как правило, опасались возвращаться в родные места.

Но мощная тифлисская «охранка», контролирующая весь Кавказ, как это ни странно, не смогла его арестовать!

В Тифлисе Коба жил в подполье.

Встретились вновь мы с ним в славном 1905 году, когда в России началось небывалое. То, чего не ждал никто из нас – ни большевики, ни меньшевики... Сфинкс, столетия спавший под строгим надзором своих самодержцев, внезапно проснулся. Массовые беспорядки, всеобщая забастовка, парализовавшая страну, мятежи в армии, баррикады. Пока мы спорили, какой будет Революция, она началась!

В Финляндии, в городе Таммерфорсе, была срочно созвана тайная конференция социал-демократической партии. Я снова являлся делегатом от Кавказа. Здание, где проходила конференция, стояло у озера, недалеко от огромного православного собора. Каково было мое изумление, когда, подходя к озеру, я увидел... Я не поверил своим глазам! У озера стоял... Коба.

– Коба!

– Ошибся, кацо, мое имя – господин Васильев, – усмехнулся он.

Мы обнялись.

Оказалось, я недооценил Ленина. Он запомнил мой рассказ о Кобе, и того пригласили на съезд. Коба купил себе паспорт на имя какого-то Васильева и приехал...

Честно говоря, я опять был изумлен. Финляндия, завоеванная русскими царями, чье население ненавидело царизм, стала любимым пристанищем для нас, русских революционеров. Оттого в дни революции 1905 года все поезда в Финляндию буквально кишели агентами русской секретной службы! У меня, помню, в пути жандармы четырежды проверяли паспорт, пристально вглядывались в фотографию, потом в мое лицо. Честно говоря, я не мог тогда понять, как Коба с его грузинским лицом и сильным акцентом благополучно проехал через всю Россию в Финляндию с русской фамилией в паспорте. Он воистину был удачлив. Слишком удачлив или (что точнее) *странно* удачлив...

Вечером в самой дешевой гостинице, где он остановился, я рискнул спросить:

– Что говорили жандармы, увидев твой паспорт на фамилию Васильев?

Он побледнел. Лицо стало злым.

– Они не видели мой паспорт. Я умею заговаривать. Сижу и бубню под нос: «Проходи мимо... проходи, дорогой...» И проходят! – Он посмотрел на меня в упор. – Ты что же, мне не веришь?

Я поверил, хотя никому не мог пересказать это странное объяснение.

Ленин уже был в зале, когда мы с Кобой вошли в прокуренное маленькое помещение. Ильич сидел в углу, что-то торопливо писал. Коба с таким детским восторгом уставился на него, что тот даже обернулся...

Коба прошептал:

– Подведи!

Я волновался. Я боялся, что Ленин задаст ему тот же опасный вопрос. Но я недооценил Кобу.

Я подвел его к Ленину, представил, и Коба, не дав ему открыть рта, вдруг весело, простодушно сказал:

– А я ведь думал, что вы совсем другой, товарищ Ленин.

Ленин с любопытством посмотрел на него.

– Что вы представительный, статный великан, – продолжал мой друг. – А вы... такой незаметный.

Ленин буквально зашелся от хохота.

– Великан? Представительный? – хохотал он.

– Да, я думал, что вы как... как орел!

– Орел! – заливался Ленин.

Все оборачивались. Но Коба продолжал в том же духе:

– И очень меня удивляет, товарищ Ленин, что вы пришли вовремя. У нас на Кавказе великий человек обязательно должен опаздывать на собрания.

– Опаздывать на собрания! – умирал от смеха Ленин.

– ...Пусть члены собрания с замиранием сердца ждут его появления...

Ленин часто смеялся. У него был звонкий детский смех. «Синьор Динь-динь» – так звали его в Италии. Коба, боготворивший тогда Ильича, быстро перенял у него эту привычку часто смеяться. Но смех у моего друга оказался странноватый, будто он что-то выплевывал изо рта. Вместо смеха Коба прыскал в усы...

Вечером в маленьком кафе Ленин, хохоча, пересказывал соратникам слова наивного, диковатого грузина, взявшего кличку из романа с грозным названием «Отцеубийца». Смеялись от души все слушавшие большевики, друзья Ленина – Каменев, Крестинский, Радек... Все, кого потом опозорит и расстреляет мой друг «Отцеубийца» Коба.

И только я, хорошо знавший его, понял: Коба играл! Он решил быть таким, каким хотел его увидеть Ленин. Дикарь, пришедший в Революцию. Представитель миллионов. Азиат. И он им стал... для Ильича.

Хотя на конференции в Таммерфорсе Коба не выступал и вообще никак себя не проявил, Ленин пригласил его участвовать в съезде в Стокгольме. А потом позвал на новый съезд – в Лондон.

Многие наши товарищи недоумевали. Но к тому времени я уже знал почему.

Сразу после конференции в Таммерфорсе умер мой отец. Конечно, я рискнул приехать в Тифлис. Через день после похорон, поздним вечером, ко мне пожаловал Коба. Он был в какой-то глупой феске, выглядел в ней смешным малорослым рабочим-турком.

Как обычно, не сказав «Здравствуйте», он пробормотал что-то о соболезновании. Потом вынул мятый листок и начал читать. Это было обращение Ленина, написанное... будто в память о казненном брате Ильича. Его любимый старший брат, сторонник террора, задумавший покушение на царя, погиб на виселице, когда Ильич был еще подростком. Ленин никогда не забывал брата. Повешенный всегда находился возле него. (И когда он приговаривал к смерти царскую семью, думаю, мертвый брат тоже стоял рядом.)

Ильич писал: «Товарищи рабочие! Пусть слякотная власть узнает, что такое наш пролетарский террор. Создавайте повсюду боевые дружины! Вербуйте молодых боевиков, учите их на убийствах полицейских... Кинжал, пистолет, на худой конец, тряпка, смоченная в керосине, – ваше оружие!»

– Так велит нам Ильич, наш Мессия, – торжественно сказал Коба. – С нами пойдешь?

– С кем это – «с нами»?

Коба тихонечко свистнул. И, как сейчас вижу: в дверях за тщедушным Кобой вырастает он – огромный, черноволосый. Еще один наш общий друг – Симон Тер-Петросян. Ставший легендой нашей партии под кличкой Камо. Вечно молчаливый Камо, юноша невероятной физической силы...

Дом его отца, богатого купца Тер-Петросяна, находился недалеко от лачужки Кобы. С отрочества Симон, как и я, был послушной тенью Кобы. Помню, как бесился мой отец, когда видел меня с Кобой. И так же бесился отец Симона: «Что вы нашли в этом голодранце? Не доведет он вас до добра!» Но тщетно. Коба притягивал нас к себе. И силач Симон вслед за мной и «мушкетерами» стал еще одним покорным адъютантом Кобы. Коба привел Камо к большевикам, как прежде привел меня...

– С нами пойдешь? – повторил Коба.

Я в ответ радостно засмеялся. Мы обнялись. И, положив руки на плечи друг друга, запели наши грузинские песни. Удалые и печальные.

Камо, восторженно глядевший на нас, сказал:

– Как же вы похожи! С таким сходством можно будет делать большие дела.

Камо был абсолютно непредприимчив в жизни. Но во всем, что касалось террора, у него замечательно работала голова.

А тогда мы надрезали пальцы, смешали нашу кровь.

– До смерти вместе! – объявил Коба.

Сколько раз потом я вспоминал эту фразу...

«Сила бессильных»

Именно так кто-то удачно определил Террор...

Мы собрали боевую дружину из двадцати человек. Камо беспощадно тренировал нас. Коба планировал наши нападения. И часто сам в них участвовал. Маленький, юркий и бесстрашный барс Революции, мой друг Коба.

Всего два десятка человек! Но мы держали в страхе Тифлис, Баку и Батумский порт.

Действовали мы быстро и внезапно. Внезапно нападали и внезапно исчезали. Научились растворяться в городской суете. Но чаще работали ночью. Мы тогда многое сделали. Брали дважды банки в Батуми, нападали на дворцы нефтяных магнатов в Баку, грабили каюты кораблей в Батумском порту и убивали полицейских.

Убивать оказалось не страшно. Мой первый убитый – охранник в порту...

В детстве мы с моим другом Гришей охотились с сачками на бабочек. Помню, Гриша бежал с сачком, наткнулся на камень, упал и какое-то время лежал на земле, нелепо выставив руку с сачком. И тот охранник, которого я подстрелил, лежал на земле, тоже нелепо выставив руку, так и не поймав свою бабочку. Темная жидкость натекла рядом с ним. Я не сразу понял, что это кровь.

Именно в Батуми Кобе изуродовали руку... Мы поджидали почтовую карету с жалованьем полицейским. Была полночь – любимое наше время. Как только показалась карета, пошли на штурм.

Но на этот раз охрана не растерялась. В рукопашной схватке Кобу сбросили с подножки кареты на булыжную мостовую. Экипаж с деньгами умчался, проехав по его руке. На место прибыла полиция, но мы уже ушли в горы. Камо на плечах вынес Кобу. Рука плохо срослась и плохо разгибалась в плече и локте...

Уже после Революции Коба придумал курить трубку. Согнутая рука, держащая трубку, маскировала этот дефект. И на тысячах тысяч картин Верховный главнокомандующий изображен с вечной своей трубкой в согнутой левой руке. Так что в ту страшную ночь мы с Камо стояли у истока славных произведений нашей живописи...

Наши грабежи назывались «эксами» – экспроприацией в пользу Революции. Через наши руки проходили сотни тысяч, но мы жили трудно, порой впроголодь. Все деньги и драгоценности Коба отсылал в Швейцарию Ленину. Вот почему мы с Кобой участвовали во всех съездах.

Именно тогда мы начали использовать наше сходство. Мы придумали обязательно разделяться во время терактов. Точнее, это придумал Камо. Если участвовал в деле Коба, я должен был пить и дебоширить в каком-нибудь дорогом ресторане. Или наоборот. И если Кобу или меня арестовывали, хозяин того заведения чистосердечно подтверждал: «Этот господин до утра был у меня». И на вопрос обвинителя: «Отвечаете ли вы за свои слова?» – хозяин только вздыхал и начинал перечислять убытки от дебоша. В результате ни Кобу, ни меня ни разу не арестовали за «эксы». Потому в дальнейшем Коба легко засекретит свою удалую жизнь. И после Революции он никогда не упоминал о наших подвигах. Он будто чувствовал, что в будущем они могут ему помешать.

Рассказывая о своей поврежденной руке, Коба придумал рождественскую сказочку о бедном маленьком мальчике, искалеченном в детстве колесами богатого экипажа... Но зато он не скупясь повествовал о геройствах Камо. Эти истории о беспримерной храбрости, дьявольской изворотливости, революционной жестокости нашего друга Камо стали романтической легендой нашей партии.

Камо

Как и я, Камо совершенно терялся в присутствии Кобы.

Знаменитая партийная кличка Камо всего лишь издевательская шутка Кобы.

Однажды Коба поручил Симону отнести «камешки» ювелиру Нодия, скупавшему драгоценности, которые мы экспроприировали. Это были бриллианты, «изъятые» в доме бакинского нефтяного богача. Симон не расслышал фамилию ювелира. Привычно коверкая русский язык, спросил:

– К камо нести, дорогой, повтори, пожалуйста?

– Эх ты – «камо, камо», – засмеялся Коба. – Ты и вправду настоящий Камо! Давай будем тебя так звать – «товарищ Камо»? – И, прыснув в усы, заорал: – Эй, друг наш, товарищ Камо, отнеси эти камешки ювелиру Нодия!

Симон был южный человек, гордый и вспыльчивый. За насмешку над ним другой мог расплатиться жизнью. Но от Кобы он не только снес насмешку, но и согласился, чтобы издевательская шутка стала его партийной кличкой. Как и я согласился стать Фудзи...

Деньги партии

Во всей партии только Ленин и еще один человек знали о подвигах нашей боевой дружины. Этим человеком был главный террорист партии Леонид Красин, партийная кличка Никитич.

Не забуду нашей первой встречи...

Сначала верный человек передал Кобе записку от Ленина. Нам предлагалось поступить в полное распоряжение некоего «товарища Никитича». Ровно в два часа мы должны были, «шикарно одетые», ждать его на Эриванской площади.

В два мы втроем подошли к месту встречи. Камо был в белой черкеске, я в элегантной тройке. Коба пришел в поношенном пиджаке, в нелепой феске и еще более нелепой ситцевой косоворотке. Усмехаясь, объявил:

– «Шикарно» приодеться не во что, бедный человек.

Кто мало знал Кобу, мог подумать, что так он протестовал. Дескать, гордец Коба не захотел подчиняться, да еще неизвестно кому. Но я-то его знал хорошо. Коба решил сначала выяснить, каково будет наше задание. Или... он уже был в курсе! И решил избежать прямого участия в деле. Он всегда все узнавал раньше других.

Подъехал великолепный экипаж, и оттуда вышел элегантный, с орхидеей в петлице, Красин. Он работал ведущим инженером в знаменитой немецкой фирме «Сименс», но это была его «крыша».

Истинная жизнь Красина проходила в подполье. Им владели две страсти – женщины и бомбы. Я думаю, он и партийцем-то стал, чтобы изобретать новые бомбы. Его бомбами были убиты многие его знакомцы – царские чиновники, встречавшиеся с ним на балах и приемах.

В это время (как я узнал потом) Красин был одержим идеей сделать бомбу величиной с орех, чтобы можно было пронести ее в кармане смокинга. И прямо на балах взрывать «ликующих, праздно болтающих» своих знакомых.

Имелась у него и другая заветная мечта – создать огромную сверхбомбу. Сбросить ее с аэроплана на Александровский дворец. И разом покончить с царем, всей царской семьей и свитой.

На эти великие замыслы требовались великие средства. Он тратил на бомбы все свое большое жалованье, но не хватало... И он жил в постоянных поисках денег. Он попытался делать фальшивые ассигнации. В России не получилось, он перенес проект в Германию. Вышел на человека, который достал ему нужную бумагу с водяными знаками. Красин даже спроектировал станок для фальшивок, но немецкая полиция накрыла дело.

Теперь, когда он мучился безденежьем, Ильич нашел для него неожиданный источник финансирования. Огромные деньги! Но их надо было взять. За этим он и приехал в Тифлис.

Задание партии

Итак, мы подъехали к самой дорогой гостинице в нашем солнечном Тифлисе.

Номер Никитича был великолепен. Нас буквально ошеломили люстры, мебель, зеркала.

Но задание ошеломило куда больше.

– Вам нужно выехать со мною во Францию, в Канны. Некий богач, близкий к нашей партии, решил покончить с собой. Он достойный человек и потому завещал партии все свои деньги. Но, к сожалению, вестей о его смерти нет... хотя мы их ждали неделю назад.

– Раздумал умирать, дорогой? – улыбнулся Камо.

– Умирать непросто, особенно богачу, – ответил Никитич. – И возможно... придется помочь ему. – Он усмехнулся и добавил: – Почему не помочь хорошему человеку? Ваши заграничные паспорта. – Красин передал нам три паспорта. – Вам заказаны номера в том же «Ройял-отеле», где живет и он. Это очень дорогой отель. И ваш гардероб должен быть соответствующим. Ваши черкески мне не нравятся. Сегодня вам доставят новые. Вы – трое грузинских аристократов, приехавших погулять во Францию...

– Я рядиться шутком не буду... – сказал Коба.

– Это я уже понял, – снова усмехнулся Красин. – Если не хотите рядиться шутком, вам придется стать слугою господ «князей»!

Я ожидал взрыва, но, к моему удивлению, Коба только сверкнул глазами и промолчал...

Вечером нам доставили новые черкески. Утром появился Красин с портфелем. Наш вид ему понравился. Камо в белой черкеске выглядел роскошно. Думаю, и я был неплох... Коба по-прежнему оставался в пиджаке и феске.

– Вы здорово похожи с вашим «слугой», – сказал мне Красин. – Это бросается в глаза, привлекает к вам внимание. Потому наклейте-ка... – И он вынул из своего портфеля... эспаньолку и усы! Оценил мой восхищенный взгляд и добавил: – Да, это чудесный портфель. Обычно ношу в нем бомбы...

Я вышел из вокзального туалета бородатым.

Пропускаю путешествие и первые впечатления от Парижа. Мы с Камо отправились смотреть знаменитые Елисейские Поля – выставку роскошных экипажей и туалетов. Коба преспокойно улегся спать, он так и не вышел из номера.

Убийство мецената

Утренним поездом мы вместе с Красиным выехали в Канны.

В номере каннской гостиницы Красин наконец назвал имя главного действующего лица: Савва Морозов.

Он был известен тогда всей России. Знаменитый богач и столь же знаменитый меценат. Но подлинную историю человека, которого нам предстояло убить, я узнал лишь потом. На свои деньги Савва построил здание Художественного театра. И здесь была не любовь к искусству, но вечное – «ищите женщину!». Савва Морозов, этот очередной Рогожин из Достоевского, влюбился страстно, «на всю жизнь» в актрису Художественного театра, первую красавицу русской сцены Марию Андрееву. Но Андреева играла не только на сцене.

Она играла и в жизни, причем в очень опасную игру. Она являлась членом нашей партии, агентом нашего ЦК. «Товарищ Феномен» – так называл ее Ильич.

Феномен умела заставить Савву раскошелиться и на ее роскошную жизнь, и на нужды нашей партии. На морозовские деньги издавалась ленинская «Искра» плюс две большевистские газеты – «Новая жизнь» в Петербурге и «Борьба» в Москве.

Фантастическими тратами Савва смог сделать невозможное – огромное состояние Морозовых начало таять. Возникли проблемы с кредиторами. Но безумные деньги продолжали утекать, ибо продолжалась любовь. Мать и родственники надумали объявить Савву недееспособным. В довершение катастрофы бедняга узнал, что «любовь всей его жизни» изменяет ему! Причем изменяет с другой «любовью всей его жизни» – самым популярным тогдашним писателем и самым близким его другом Максимом Горьким. Савва впал в тяжелую депрессию. Он решил покончить собой. Именно тогда его хороший знакомец Красин предложил Морозову, умирая, отомстить родичам – оставить все состояние большевикам. В присутствии адвоката был составлен страховой полис. Все свои деньги Савва в случае смерти завещал Марии Андреевой. Она должна была передать их партии.

Покончить с собой Морозов запланировал в Каннах, где был когда-то так счастлив со своей красавицей. Однако в Каннах, вдали от дел, депрессия ослабела. К нему приехала жена, постаравшаяся заменить в постели изменницу. К тому же Савва начал играть в рулетку. Играл по-крупному, но очень успешно. Новая страсть совершенно захватила его, и он... отложил самоубийство! Обо всем этом следившие за Морозовым агенты партии сообщили Красину. Красин понял: деньги ускользают. И решил действовать. Нужны были исполнители. Ильич посоветовал нас... Но, повторюсь, все это я узнал потом...

Расположились мы в гостинице превосходно. Я занял великолепный номер на этаже Саввы, недалеко от его апартаментов. Камо поселился прямо над комнатами Саввы. Коба, как и положено слуге, занимал маленькую комнатку в роскошном трехкомнатном номере Камо.

Утром Коба завтракал в номере, а мы с Камо – в ресторане. Недалеко от нас завтракал Савва с женой. Меценат был говорлив и жизнерадостен. В это время в зал вошел Красин. Савва увидел его и отчетливо побледнел. Быстро закончил есть и поспешно, почти бегом, вышел из зала. Сомнений не было: Морозов решил жить.

Вечером Красин в моем номере изложил план. Завтра ближе к ночи у него назначена встреча с Саввой. В это время, как выяснило наблюдение, жены в номере Саввы не бывает. В восьмом часу она обычно отправляется в театр или в кабаре. На самом деле она встречается со своим любовником, который приехал в Канны следом за ней. И возвращается в номер за полночь.

Красин условился с Морозовым о встрече в половине одиннадцатого. В этот час уже темно, в саду рядом с отелем играет джаз-оркестр. Музыка заглушит звук выстрела.

План был такой. Красин придет в номер к Морозову, спросит об обязательстве. В это время Камо и Коба, пользуясь темнотой, бесшумно спустятся из номера Камо на огромный балкон номера Саввы. Там и затаятся. Если Красин уходит ни с чем, он поднимает правую руку. Тогда тотчас после его ухода Камо и Коба входят в номер через балконную дверь. Коба схватит Савву, удержит, пока Камо выстрелит в висок. После чего вложит револьвер в руку Саввы...

Я в это время нахожусь в коридоре, обеспечивая прикрытие. Услышав выстрел, проверяю коридор. И по моему условному знаку «коридор пуст» они выходят из номера Саввы и переходят в мой – на том же этаже.

План мне понравился. Но тут заговорил Коба:

– Не странно ли будет такому солидному господину в богатой черкеске, – указал он на меня, – слоняться по коридору? То ли дело я – слуга! Может, меня послали вычистить сапоги или мой господин в номере даму принимает? – Он прыснул в усы. – Мое святое дело – торчать в коридоре!

Красин подумал, усмехнулся и согласился.

Итак, вместе с Камо я должен был теперь совершить убийство. А Кобе надлежало ждать выстрела в коридоре. Всего лишь!

Тут я окончательно осознал, зачем Коба придумал эту историю с бедной одеждой. То была его типичная шахматная партия: делая первый ход, он уже просчитал последний. Он с самого начала решил *не участвовать* в убийстве. Понимал: если полиции удастся напасть на наш след, убийство такой знаменитости навсегда останется в его биографии. А он уже тогда, клянусь, думал о своем великом будущем!

В тот вечер в своем огромном номере Савва готовился ехать на рулетку. В половине одиннадцатого Красин отправился к нему в номер. Коба занял свое место в коридоре и теперь разгуливал между моим номером и номером Саввы.

Я перешел в номер Камо.

В наступившей темноте по веревке, страхуя друг друга, мы с Камо бесшумно спустились на морозовский балкон. Мы не раз проделывали подобное в Баку во время нападений на дворцы нефтяных королей.

Теперь мы стояли за балконной дверью... И хорошо видели обоих. Савва уже был во фраке. Разговор, видно, проходил нервно, оба много жестикулировали. Вдруг Савва направился к балконной двери и, продолжая говорить, *открыл ее*. Мы замерли. Он постоял на пороге, но, к счастью, на балкон не вышел.

– Простите, сударь, мне было немного душно, – сказал Савва, вернувшись к столу.

Теперь в открытую дверь мы слышали разговор.

– Я не могу сейчас. Я вообще сомневаюсь... надо ли это делать.

– Голубчик, ну вы же обещали женщине! – продолжал уговаривать Красин. – В чем же сомнение?

– Это хорошо, если *там* ничего нет... А если есть? Ведь грех-то какой – самоубийство. Я все думаю: может, лучше в монастырь? Вы не бойтесь, я вам отдам часть денег.

– Нам части мало, милейший. В России – революция! Бомб сколько нужно! И каждая, поверьте, в большую копеечку обходится! А купцы ваши, повидав Революцию, перепугались, деньги отсылать перестали.

– Я вас очень хорошо понимаю. И сочувствую... Но поймите и меня, сударь... Я не готов!

– Да что ж вы за дрянь-человек! Повторяю: вы обещали, голубчик. Извольте исполнить. Если бы я обещал...

– Вот вы и стреляйтесь. – И Савва положил руку в карман.

«Ба, да у него револьвер», – подумал я и показал Камо на оттопыренный карман. Камо кивнул, он тоже заметил.

– Вы решительно отказываетесь?

– Не отказываюсь, просто не могу.

Красин пожал плечами и повернулся уходить.

– До встречи *там*, сударь, – вдруг насмешливо сказал Савва. – Надеюсь, *здесь* вы меня более не потревожите.

– Надеюсь, *там* встреча не задержится, – усмехнулся Красин и, *подняв правую руку*, вышел из номера – элегантный и фрачный.

Как по команде, в саду громко заиграл оркестр.

В это время Морозов, что-то напевая, повернулся к зеркалу, поправил бабочку. Теперь он стоял на редкость удобно, виском к балкону. Так что хватать его за руки не пришлось. Камо выстрелил. Пуля попала точнехонько в висок. Савва рухнул у зеркала.

Я бросился к нему. Он лежал недвижно, спокойный и даже какой-то усмехающийся, с выражением, которое я часто видел у покойников: «Наконец-то от всех вас отдохну»... Пока я размышлял, Камо заканчивал дело. Он надел перчатку, вынул револьвер из брюк Саввы и вложил в его руку.

И тотчас раздался в дверь тихий стук Кобы, означавший: коридор пуст.

Надо было спешить. Выстрел наверняка был слышен сквозь музыку...

Мы благополучно покинули отель. На следующий день утром все газеты написали о «самоубийстве русского миллионера». Феномен после смерти Саввы получила огромные деньги и передала их партии.

Битва за террор

А потом был Лондон. Здесь проходил очередной съезд Российской социал-демократической партии. Именно здесь мы с Кобой впервые увидели Троцкого.

...Он появился на съезде в ореоле славы. Приехал из России – из гущи Революции. В отличие от Ленина и прочих эмигрантов, страстно споривших в парижских и женеvских кафе о Революции, Троцкий ее делал. В последние дни великого Петербургского совета Троцкий был его вождем. Ему внимали тысячные толпы, а не кучка дымящих дешевыми папиросками и плохо слушающих друг друга эмигрантов.

Когда Троцкий поднялся на трибуну, маленький зал взревел от восторга.

Коба, бледный, злой, сверкая желтыми глазами, смотрел на этот неопиcуемый восторг. И шептал:

– Как они могут... этого жид!

Он не хотел знать никакого другого бога, кроме Ленина, он был ревнив.

Но никого, кроме меня, мнение Кобы не интересовало. Никому не было дела до неизвестного косноязычного провинциала...

Съезд стал триумфом не только Троцкого. На одном из заседаний выступил неизвестный дотолe оратор. Полный молодой человек с одутловатым еврейским лицом и русской партийной кличкой – Зиновьев. Его блестящая речь потрясла делегатов. Помню, Зиновьева почти единогласно избрали в Центральный комитет РСДРП. И в Лондоне он сразу стал знаменитым. Сам Троцкий написал о нем восхищенную статью в партийной газете.

Только я знал, что испытывал мой самолюбивый друг Коба, наблюдая это стремительное возвышение молодого говоруна (опять – еврея!) и видя небывалую славу другого самолюбленного еврея – Троцкого. При этом осознавая, что о его собственных, воистину великих заслугах партия никогда не узнает. О них был осведомлен лишь один из партийных вождей – Ленин. Но, как потом оказалось, – к счастью для Кобы.

На Лондонском съезде произошло нечто, для нас непоправимое. Один за другим выступили ораторы-меньшевики. Они говорили об очевидном – Революция в России умирает, и наши боевые дружины экспроприаторов все чаще превращаются в банды обычных грабителей. Приводили множество примеров, когда деньги от экспроприаций тратились боевиками на пьянство, проституток, кокаин. Все это отчаянно компрометировало партию. По предложению фракции меньшевиков съезд проголосовал за резолюцию, запрещающую террор и экспроприации. И принял ее.

Теперь мы становились как бы вне партийного закона.

Я посмотрел на Кобу – он только презрительно улыбнулся. Сразу после заседания исчез.

Перед отъездом я отправился в последний раз погулять по Лондону. Помню, как свернул с шикарной Брук-стрит на тихую улочку. В маленьком парке гувернантки пасли малышей, этаких джентльменов – лилипутов в черных сюртуках и цилиндрах. Они играли в серсо.

Рядом с парком был дорогой ресторан. Бросив рассеянный взгляд сквозь витрину, я увидел... Кобу и Ленина! Ленин в серой щегольской тройке и Коба в своем вечном тогдашнем наряде – русской косоворотке, пиджаке и феске. Они о чем-то беседовали. Точнее, говорил, жестикулируя, Ленин. Я сразу почувствовал: этого мне видеть не надо. И торопливо скрылся.

На следующий день Коба сказал мне:

– Надеюсь, ты забудешь то, что видел.

– Знаешь, я уже забыл.

– Вот и славно, дорогой. Завтра выезжаю в Берлин вместе с Лениным, – (тот жил тогда в Берлине). – Там мы с Ильичем подробно оговорим план дальнейших действий. Намечается работенка.

Он панибратски сказал «мы с Ильичем», чтобы я понял: их связывали теперь какие-то отношения.

– Ты, – продолжил Коба, – завтра возвращаешься в Тифлис. Найдешь Камо, и подберете десятка два удальцов. Это вам на расходы. – И нищий Коба преспокойно передал мне сверток с ассигнациями. Большая была сумма, я бы даже сказал – огромная.

– Постановление съезда к... – Коба привычно выматерился и добавил: – Ильич давно возмущается, что Бог послал ему таких товарищей, как эти мудаки-меньшевики. В самом деле, что за народ все эти Мартовы, Даны, Аксельроды – жиды обрезанные! И на борьбу с ними не пойдешь, и на пиру не повеселишься... Вот отменили боевые дружины... А на что жить будут, кофей попивать и по заграницам ездить, на что? Подпольные квартиры содержать – на что?

– А что мы скажем нашим товарищам? Все-таки постановление партии... – начал я.

– Скажем, что Революция в России провалилась. Интеллигенция от нас отшатнулась, бунт народный испугал говнюков. Денег от купцов теперь никаких. На морозовские деньги только и живем. Точнее, доживаем. Единственный способ добывать денежки – это по-прежнему эксы и боевые дружины. Ильич учит: «Плюйте на прекраснотушних! Революцию не делают в белых перчатках».

Я понял: все наши действия одобрены Ильичем...

Уже впоследствии я узнал, что тотчас после съезда, запретившего террор, Ленин создал некое тайное образование внутри партии. Это была «тройка». Ее существование скрывалось не только от полиции, но и от членов партии. Подполье внутри подполья. В «тройку» вошли: Ленин, неизвестный мне тогда большевик Сольц и известный мне Красин... Теперь эти трое руководили террором и экспроприациями.

Но, как и в нашем детстве, рядом с этими тремя «мушкетерами» был четвертый. Они придумывали, а он делал! Роль Д'Артаньяна опять исполнял Коба. И скажу с гордостью: я находился подле него!

С одобрения «тройки» Коба и начал организовывать наш главный подвиг – «тройке» стало известно, что в Государственный банк Тифлиса везут деньги из столицы.

Великое ограбление

Вся наша боевая дружина, согласно постановлению съезда партии, вынуждена была сдать оружие. После чего мы с Камо выехали в Берлин... за новым оружием. Купленные новенькие револьверы хранились у Ильича в его берлинской квартире. Нам нужно было перевезти их через границу. Дело несложное, но с Камо, как говорится, не соскучишься...

Ленин, его жена и мать ждали нас в квартире. Двадцать новеньких револьверов лежали на столе.

Мы приехали вечером и всю ночь до утра обдумывали, как их провезти в Россию. Большие были споры! Ленин оказался в этом деле профаном. Но все придумала... его мать! Мы с Камо были тогда очень худые. И вдова действительного статского советника аккуратно развесила на наших спинах и на груди, на веревочках, по десятку револьверов. На них мы надели рубашки и пиджаки.

На следующий день два упитанных кавказца шли по Берлину.

На вокзал нас провожала жена Ильича Надюша. Надюша Крупская была тогда еще молода, но очень нехороша собой. Жидкие волосы, суховатая, пучеглазая (у нее были отчетливые признаки базедовой болезни). За эти глаза навывкате она получила партийное прозвище Селедка. Сам Ильич нежно звал жену Миногой. У них не было детей, и Надя болезненно любила кошек. И вот по дороге на вокзал, на наше несчастье, она увидела беленького котенка, сидящего в раскрытом окне особняка. Она простодушно восхитилась:

– Какая прелесть этот котик!

Этого говорить не стоило! Рыцарь Камо подпрыгнул тотчас, причем удивительно высоко, в прыжке схватил котика и, вернувшись на нашу грешную землю, гордо протянул его Надюше – несчастного, жалобно мяукающего:

– Возьми, дорогая, если нравится.

К сожалению, хозяева котика были против. Из дома выбежал толстый бюргер с социал-демократической карикатуры. За ним – жена в папильотках. Поднялся крик, обещали вызвать полицию. Этого мне, обвешанному револьверами, совсем не хотелось. Но Камо... Помню, с каким изумлением он смотрел на кричавших. Он сказал бюргеру:

– Почему кричишь? Мне понравился твой котик, я взял. Если нравится что-нибудь у меня – тоже бери. Вот нравится тебе мой пиджак? Бери. Я что – против?

В припадке обычной своей щедрости Камо совсем забыл про пистолеты под пиджаком. Но, к счастью, я успел схватить его за руку, и мы ограничились извинениями и возвращением котика.

Камо был простодушен до глупости и хитер до мудрости.

Вскоре мы благополучно вернулись в Грузию с оружием для нашего маленького отряда.

Деньги было решено захватить, когда их повезут из почтовой конторы в отделение Государственного банка. Наши люди в банке сообщили: сопровождать деньги будет усиленная охрана – пять казаков, трое городских, три солдата-стрелка и банковские служащие. Поедут на двух экипажах, повезут двести пятьдесят тысяч рублей в одном мешке.

Это передал нам Коба. Он был в курсе всего, как обычно. Сообщил он и печальное: о готовящемся нападении узнали. Полиция усилила охрану вокруг почтового отделения. Но, к счастью, они не знали главного – где и когда мы нападём...

Нас было всего два десятка. Но у нас имелся филигранно проработанный план Кобы. Правда, в самом начале операция едва не сорвалась. Динамит очень капризен; делая бомбу, надо быть предельно осторожным. Камо же поторопился, и бомба взорвалась. Результат:

его помощник убит, у Камо повреждена кисть руки, начал дергаться глаз. Но железный человек сказал:

– Пустяки!

И он наступил – наш главный день, 26 июня 1907 года.

Одиннадцать сорок утра. Полуденный жар привычно плавил город. Коба сидел на площади, в ресторане «Тилипучури» и, как полководец, готовился наблюдать за боем. С ним сидели трое боевиков – резерв.

Я стоял с бомбой на выезде с площади в сторону Солдатского рынка. Как обычно, Коба позаботился об алиби. На этот раз – о моем. За несколько минут до нападения он вызвал хозяина ресторана и шумно и долго скандалил – ругал за плохое вино.

Ближе к полудню Эриванская площадь в Тифлисе всегда полна народа. Пестрая, веселая южная толпа, среди которой разгуливали наши боевики...

Еще в половине одиннадцатого две наши женщины, следившие за почтой, подали условный знак. Это означало, что кассир и счетовод Государственного банка получили на почте деньги и грузят их в фаэтон.

Фаэтон сопровождали два вооруженных стрелка, двое других уселись во втором фаэтоне, который должен был следовать за первым.

Оба фаэтона окружил казачий конвой. После чего сей поезд неторопливо тронулся.

В полдень он проехал вблизи дворца наместника и выехал на Эриванскую площадь. Одновременно на площадь вкатился наш фаэтон, в котором сидел мужчина в форме офицера полиции (Камо).

Поезд с деньгами уже начал сворачивать с площади, когда сверху, с крыши дома князя Сумбатова, наш товарищ швырнул в него разрушительную бомбу. Взрыв получился страшной силы, вылетели все окна во дворце князя и во всех домах в округе. Одновременно началась пальба с тротуаров, в фаэтоны полетели бомбы. Трое казаков конвоя пали замертво, двое городских улеглись рядом... По тротуару ползали, стонали раненые прохожие. На площади началась паника. Поезд поневоле остановился. И тогда в огне, в дыму наши боевики ринулись в фаэтон. Вышвырнули оттуда обоих стрелков... Но больше там ничего не было. К счастью, Камо понял: ошиблись! Остановили не тот фаэтон. В это время испуганные кони уже мчали прочь с площади второй фаэтон – с деньгами. Тогда Камо, изображая офицера полиции, матерясь и стреляя, погнал свой экипаж за ним.

Коба не зря поставил меня на выезде с площади. Упряжка с деньгами мчала прямо ко мне. И тогда я бросился наперерез и швырнул бомбу под ноги лошадям. Помню: попадали лошади, попадали прохожие... Меня отбросило на мостовую. В грохоте, в дыму Камо и наши ребята ринулись в остановившийся экипаж. Выкинули на мостовую несопротивлявшихся, обезумевших от ужаса счетовода и кассира. Вынесли злосчастный мешок. В нем оказались почти все двести пятьдесят тысяч... Не хватало только девяти тысяч, их должны были везти завтра. Передавая мешок из рук в руки, в считанные секунды мы перебросили его в фаэтон Камо. Туда же швырнули контуженного меня – на мешок с деньгами... И помчались прочь. Никогда не забыть мне зверское лицо Камо и то, как он стрелял в упор в появившегося перед фаэтоном казака...

Падает навзничь казак, оторопело наблюдают городские...

И в следующий миг все исчезло – и мы и фаэтон. Растворились в жарком воздухе...

Добычу сначала хранили у меня под обивкой дивана. Потом переправили за границу нашим. Эти деньги и стали западнею для многих из них.

Купюры были крупные, по пятьсот рублей, и по наивности (неопытности) мы не предполагали, что номера их переписаны. Номера тотчас были сообщены русским и европейским банкам. И наши товарищи попадались при попытке разменять их за границей.

Попался в Берлине и сам Камо...

Русская полиция потребовала его выдачи. Если бы его выдали, наверняка – петля. И вот тогда он совершил самый фантастический из своих подвигов. Симулировал безумие. Он сотворил невозможное. Его проверяли берлинские психиатры, тогда – лучшие в мире. Три года он водил их за нос. Три года они верили и лечили его. И наконец, решив, что он безнадежный, выдали его России для... дальнейшего лечения. Он и здесь симулировал безумие столь же успешно. А пока его лечили, он... бежал!

Я увидел Камо в Баку после побега. Он очень изменился – поседел, кожа как-то сморщилась, постарел лет на двадцать. Но смеяться не разучился. Он рассказал мне:

– Они, конечно, свое дело знают, науку свою знают... Но вот кавказцев не знают. Уверяю тебя: им всякий кавказец покажется сумасшедшим! Потому что он свободен. Помнишь, как на меня вылупился тот немец с кошкой. Он не мог понять, что я взял его кота потому, что я свободный в своих желаниях, в своей доброте. – Помолчав, он добавил: – И еще! Есть такое понятие – «революционная ярость». Я не понимал раньше, брат, что оно значит. А вот тогда, стоя перед докторами, понял! Сытые стоят, уверенные в себе! А я все вспоминал, все видел тебя на мешке с деньгами, Эриванскую площадь и убитых, и кричащих раненых! И пришел в ярость, думаю: так вас разэтак! Я вас перехитрю! И перехитрил!..

И я тоже часто вспоминал: уносившийся фаэтон, мертвые казаки, стонущие, изуродованные прохожие... Кровь...

Много крови всюду, где появляется мой друг Коба.

В то время из-за этих проклятых похищенных денег попался и я. Я закупал на них запалы для бомб. После моего провала было решено оставшиеся купюры – почти сто пятьдесят тысяч – уничтожить. Не принесли нам пользы эти деньги в крови...

Из тюрьмы я бежал. Приехав в Грузию, узнал: Коба влюбился.

Любовь и смерть

Это случилось на дне рождения Алеша Сванидзе. Алеша, красавец сван с голубыми глазами, был теперь большевик, подпольщик, наш товарищ по партии.

В тот вечер рядом с ним стоял узкоплечий, тщедушный, какой-то ущербный Коба. Как же нелепо и жалко он выглядел в сравнении с Алешей. Да и с другими джигитами, пришедшими тогда на праздник... Все мы были в щегольских черкесках, а Коба – по-прежнему в косоворотке, пиджаке явно с чужого плеча. На голове – вся та же нелепая турецкая феска.

Присутствие стольких щеголей объяснялось просто. Красота – семейная черта Сванидзе. И сейчас все взгляды были обращены в угол комнаты. Коба глядел туда же – горящими глазами.

Там на стуле сидела она – Като. Екатерина Сванидзе, сестра Алеша. Сидела чинно, скромно, как и полагается хорошей грузинской девушке.

– Я хочу жениться на ней! Она мне будет настоящей женой, Фудзи... – Все это он шептал мне, догадываясь, конечно, что и я был влюблен в нее. Но ему, как всегда, это было безразлично. – Как же она хороша! – продолжал шептать Коба. – И, слава богу, не похожа на наших блядей-товарищей. – Это он о свободомыслящих революционерках, скитавшихся по нелегальным квартирам и заодно по постелям революционеров. – Она настоящая! Женюсь! Иди, знакомь меня с нею...

Я хотел возразить, но... Но повел его к ней!

...Он подчинил ее сразу, как всех нас. Впоследствии Папулия Орджоникидзе кому-то объяснял: «Да, маленький, да, рябой. Но зато в нем есть эти чары... любимого у нас, кавказцев, романтического разбойника, грабящего богатых во имя бедных. Наш национальный герой – это всегда Робин Гуд».

Думаю, он не прав. Екатерина была набожная девушка, и рассказы о делах Кобы могли ее только напугать. Коба подчинил ее не делами, а глазами. В его взгляде, клянусь, таился некий, если определить упрощенно, «магнетизм, пока неизвестный науке». Во всяком случае, уже через неделю бедная красавица смотрела на него такими же собачьими, преданными глазами, как все мы, давно ставшие его верными псами...

Когда он предложил ей стать его женой, она тотчас, без колебаний, счастливо согласилась, но... Она была так же религиозна, как его мать. И мучилась, не смея попросить его. Но он сам предложил: «Будем венчаться».

Представляю ее счастье, когда он сказал ей это.

Думаю, это было последним ее счастьем...

Мне он объявил кратко: «Венчаемся завтра. Ты придешь, но об этом никому ни слова. Никто не должен знать. Будешь только ты и Алеша».

Еще бы! Церковный брак считался позором для революционера. Я не помню другого случая, чтобы революционер-интеллигент не только женился на верующей, но еще и венчался с ней.

Но, убивая и влача безбытное существование подпольщика, мой друг Коба мечтал о настоящей семье. О семье, которой был лишен в детстве. Создать такую семью могла только невинная, религиозная девушка. И он нашел ее... на ее беду.

Коба хотел, чтобы все было, «как у людей». Он решил быть нарядным на венчании. Мы с ним одного роста и одного сложения. Я предложил ему свою весьма элегантную «тройку», но он предпочел пиджак куда великолепнее. Этот пиджак был у третьего «мушкетера» – у нашего друга детства огромного Пети. (Петя в это время стал известным борцом и сильно разбогател.)

В маленькой церквушке они стояли перед старым священником: высокая красавица со счастливыми глазами и маленький рябой Коба в роскошном пиджаке, который был ему уморительно велик.

После церемонии я передал священнику деньги от Кобы – для бедных.

Священник взял деньги, вздохнул и вдруг сказал:

– Несчастливая девушка. Передайте ей, что я буду молиться... – Он помолчал и добавил: – *За него...*

Теперь они жили в Баку. Она работала швеей. Коба по заданию Ильича продолжил наши подвиги на нефтяных промыслах. Он обложил хозяев нефти налогом – и в случае невыполнения мы немедленно поджигали нефть или организовывали забастовки.

Помню, как однажды Коба не получил обещанных денег.

– Ничего, – сказал он. – Утром заплатят вдвое.

И уже вечером багровое зарево встало над промыслами.

Мне он приказал:

– Поезжай в контору, передай: если денег не будет к утру, сожжем все хозяйство.

Передавать ничего не пришлось. Как только я вошел в здание администрации, ко мне бросился приятнейший господин – сама услужливость:

– Вас ждут!

В кабинете мне молча передали портфель с деньгами.

Из всей огромной суммы Коба оставил себе жалкие копейки, он по-прежнему вел полунищую, бродячую жизнь. Только теперь в этой жизни появилась еще одна несчастная – его жена. Боже, как же я ее жалел!..

За нами, конечно, должна была охотиться полиция. Должна была, но...

«Воруют» – такое самое краткое определение России дал наш великий историк. Коба щедро платил бакинской полиции из тех средств, которые мы получали от хозяев промыслов. Полиция была у него на содержании! Она как бы тоже стала участником революционного движения.

Но береженого и Бог бережет. Как правило, Коба ночевал на нелегальных квартирах. Как и положено, все время меня жилища. Бедную жену он посещал внезапно и только глубокой ночью, чтобы исчезнуть на рассвете. Иногда опасался приходить в свой дом неделями.

В те несчастные дни, когда он появлялся дома, его сопровождал я. Я должен был отстреливаться, если нагрянет полиция, чтобы он мог уйти. Он говорил:

– Мне нельзя попадаться, Ильич и партия останутся без денег. Ты отсидишь за меня.

До смерти буду помнить их маленький глинобитный домик на промыслах. Так похожий на дом его детства. Но нищее их жилище, в отличие от того дома, сверкало чистотой. Екатерина работала швеей, и все было покрыто ее вышивками и белым кружевом.

Я спал в крохотной прихожей за дверью, точнее, за простыней, повешенной вместо двери. И слышал их голоса:

– Как же я по тебе скучаю... Когда ты еще придешь?

– Приду.

– Вдова... при живом муже.

– У товарища Кобы две жены: ты и Революция. И он должен избегать ареста. Так велит ему вторая жена. – Он уже тогда начал говорить о себе в третьем лице.

– Первая жена. Так вернее, – заметила она.

– Ты права. Она первая. Она – главнее.

И я должен был все это слушать. Я, любивший ее! Да, я любил ее! Однажды мне даже показалось...

В тот день она смотрела на меня с невыразимой нежностью. И когда я уходил, сказала:

– Приходи почаще. Я так люблю на тебя смотреть... Ты так похож на него... Иногда мне кажется, что он тебя поэтому посылает ко мне... чтоб его не забывала.

Она родила ему мальчика. Сына назвали Яковом.

Как-то он не приходил целый месяц и, наконец, послал к ней меня с жалкими деньгами. Она мне сказала, краснея:

– Я теперь с грудным младенцем. Мы уже не сводим концы с концами. Может, пришлет... немного побольше?

Я передал Кобе.

– Ты знаешь, я презираю деньги, – ответил он мне. – Они всего лишь часть проклятого мира, который мы пришли уничтожить. Мы построим мир, где не будет жалких денег. Скажи ей это, и пусть она потерпит. Я ведь все отсылаю на нужды партии. Ленин требует. Пусть сидят побольше в библиотеках. Марксизм – это компас. Без него как им вести наш корабль? Да и полиции надо платить...

Потом она заболела... У нее оказался туберкулез, и она стремительно угасала. Мальчика перевезли в семью ее родителей. Вскоре я отвез к ним и ее.

Екатерина всю дорогу молчала, только кашляла. Она стала прозрачная, и кожа будто светилась. И только когда я уходил, попросила:

– Пусть он придет... побыстрее... хоть на минутку. Ты передай.

Но в дом ее родителей Коба не приехал.

И тогда она вернулась в их жалкий домик – умирать.

Когда Коба понял, что она умирает, он стал безумный.

– Не уходи, – шептал он. – Голубка моя, только не уходи... Подожди.

Он схватил меня за пуговицы и закричал:

– Беги за врачом! Вези его!

– На какие шиши?

Он оттолкнул меня и выбежал из дома. А я сидел и смотрел, как она угасает.

Она вдруг открыла глаза и сказала:

– Спасибо вам, милый Фудзи... за все.

И я понял – она все знала.

Она добавила:

– Позаботьтесь о нем... ради меня.

Я не успел ответить. Раскрылась дверь... Он привез самого лучшего, самого дорогого доктора в Баку. Как потом выяснилось, он ворвался к нему в дом, угрожая ножом, посадил в экипаж.

Первым вошел врач. Коба шел за ним и долбил одно и то же:

– Слушай, вылечи ее, друг. Лечи, лечи ее, дорогой... Я заплачу. Много. Очень много. Сколько ни скажешь, все достану. Я клянусь!

Доктор велел нам выйти из комнаты.

Мы стояли за занавеской, а он осматривал Екатерину.

Коба сказал мне:

– Постереги его, я быстро, – и опять исчез в ночи.

Наконец доктор поднял занавеску:

– Где ваш друг?

– Он просил подождать. Он очень скоро вернется.

Доктор печально усмехнулся и сел у стола.

Коба и вправду вернулся почти тотчас. Молча выложил на стол перед врачом гору ассигнаций. Убил он кого-нибудь, ограбил или где-то поблизости был партийный тайник – я не знаю.

– Возьми все, дорогой, только лечи.

– Заберите ваши деньги, – сказал доктор. До сих пор слышу, как брезгливо он это произнес. – Я уже не нужен вашей жене, ей нужен священник. Туберкулез... И крайнее истощение... Мне – поздно.

Коба окаменел. Потом начал что-то шептать. Затем сел у кровати прямо на пол, уткнул голову в ее руку. Она гладила его другой рукой по волосам, а он в голос заунывно плакал. Тогда только я узнал, что он умеет плакать. А доктор стоял у двери-занавески и смотрел на них.

– Какая же она красавица, – сказал он. И ушел...

Она отошла тихо, ночью. Как она была красива в гробу!

У меня сохранилась фотография: Коба с всклокоченными волосами стоит над ее гробом, испуганный, несчастный, потерянный. Рядом – ее родители.

Меня на фотографии нет, потому что я снимал.

В следующий раз мы встретились с Кобой через несколько лет – в ссылке в Туруханске. Я не пишу ни о своих революционных делах, ни о своей жизни в это время. Потому что рассказ мой о нем – о Кобе.

Тайна Кобы

Кажется, это случилось в 1913 году. Кобу арестовали в Петербурге на благотворительном вечере. Это был обычный благотворительный вечер в пользу неимущих студентов. На самом же деле там Коба собирал деньги для партии.

Он жил в это время в подполье, на нелегальной квартире в узенькой комнатухе для прислуги. И оттуда должен был руководить фракцией большевиков в Думе. Впрочем, руководить – это слишком сильное слово. Его задача была передавать думцам указания Ленина, которые Ильич регулярно присылал из-за границы. (Точно так же, как я руководил в свое время грузинскими большевиками – передавал им указания Ленина.)

В этой комнатухе он ютился не один. Здесь же скрывался другой большевистский руководитель – некто Арон Сольц, задыхающийся от астмы крохотного роста еврей-фанатик, помешанный на идеях Маркса. О чем бы с ним ни говорили, он вспоминал цитату из Маркса. И вступал с собеседником в яростный спор.

Кобе и Сольцу вдвоем приходилось ночевать на одной узкой кровати. Сольц был глуховат и сильно храпел. Коба подолгу не мог заснуть.

Здесь я позволю себе небольшое отступление. Отношение Кобы к этому Сольцу казалось мне всегда загадочным. И не только мне...

В начале тридцатых Сольц получил квартиру в знаменитом Доме на набережной, где жили известнейшие старые большевики и многие руководители партии и государства. Жил там тогда и я.

В тридцатые годы Сольц занимал видное место в Комиссии партийного контроля и в Верховном суде. За бессребреничество и принципиальность его именовали «совестью партии».

Помню, в 1936 году, в годовщину Октябрьской революции, в дни начавшегося террора, когда в нашем доме арестовывали каждый день, Сольца пригласили сделать доклад в Музее революции. Он вышел на трибуну и после града цитат из Маркса перешел к событиям Революции. Вместо того чтобы называть ее, как было тогда положено, «Великая Октябрьская социалистическая», он именовал ее, к большому испугу слушателей, «Октябрьским переворотом». То есть так же, как и мы все в 1918 году.

Его тотчас поправил председательствующий. Сольц немедля затеял с ним спор. Председательствующий, совершенно потерявшись, сослался на Сталина:

– Великий товарищ Сталин, который вместе с великим Лениным был отцом Великой Октябрьской революции, называет ее именно так!

В ответ непреклонный Сольц немедленно сообщил:

– Товарищ Сталин никакого отношения к Октябрьскому перевороту не имеет, в дни переворота мы о товарище Сталине ничего не слышали.

Возмущенные, точнее, насмерть перепуганные слушатели попросту стащили его с трибуны. Все это при мне рассказал Кобе тогдашний глава ОГПУ Ежов.

– Негодяя Сольца, думаю, мы сегодня же арестуем, – закончил Ежов.

– А ты не думай, – вдруг мрачно осадил его Коба, – думать буду я. Сольца оставь в покое, а вот мерзавцев-провокаторов, пригласивших этого сумасшедшего, отправь туда, где им и надлежит быть.

Организаторы вечера отправились «туда, где им надлежит быть». Сольца же поместили на неделю в психушку. Потом вернули в наш злосчастный дом. Правда, все свои должности он потерял, но в партии остался...

В 1938 году, когда Коба заботливо добивал ленинскую гвардию, Сольц написал ему гневное письмо, где последними словами клеймил главного прокурора на всех процессах Андрея Вышинского. Коба в бешенстве разорвал письмо и велел Сольца отправить... снова в психушку. Ко всеобщему изумлению! Ибо всех отправляли в это время совсем в другие места. Сольц вновь вернулся из психушки живой и невредимый. Я встретил его, спокойно гуляющего во дворе нашего Дома на набережной.

Коба его загадочно щадил. Более того, Сольц получал персональную пенсию старого большевика. И пожалуй, только я знал почему.

Это и была одна из тайн Кобы.

Уже в 1907 году распространился упорный слух, что Коба, барс Революции, бесстрашный боевик-provokator. Особенно неистовствовал один из самых влиятельных наших кавказских большевиков – Шаумян. Помню, как он приехал ко мне ночью. Размахивая руками, тряся черной гривой, сильно плюясь, он кричал со всем нашим южным темпераментом:

– Ты его друг! Объясни, дорогой, как это ему удастся так легко бежать из ссылок... И не один раз, и не два. Полиция у нас злая и умная. На собственной шкуре знаю, и ты знаешь. А вот с ним – добрая и глупая. Почему, дорогой? Объясни нам, пожалуйста, как ему удастся, убежав из ссылки, с его рябой грузинской харей и с русским паспортом проехать за границу через всю Россию? Хотя он в розыске, его фото лежит во всех жандармских отделениях, на всех крупных станциях?.. Молчишь? И правильно! И еще... После побегов из ссылки, как все знают, опасно появляться в тех местах, где ты жил до ареста. Он же преспокойно, как говорят по-русски, «живет-поживает и добра наживает» в тех же местах... К примеру, в Тифлисе. И еще! Год назад меня арестовали на конспиративной квартире, о ней знали только я и он. Вчера полиция совершила набег на нашу типографию, о которой опять же знали я и он. Мы его спрашиваем: «Как могло случиться такое?» Он с усмешкой: «Я выдал. Если хочешь так думать – думай. Мне это не мешает». И ушел...

– Но Коба устраивает забастовки, пожары на промыслах, добывает большие деньги для партии! – жалко возразил я.

– Про промыслы лучше не говори! Ты все понимаешь сам! После каждой такой забастовки, после каждого вашего поджога цены на нефть скачут вверх, и хозяева только потирают руки. Они с удовольствием платят не за то, чтобы вы не устраивали забастовки, а за то, чтобы их устраивали! И за пожары платят... А рабочие после таких забастовок как получали гроши, так и получают!

Он замолчал. Молчал и я. Потом Шаумян вынул из пальто браунинг, положил на стол:

– Есть постановление Бакинского комитета РСДРП о борьбе с provokatorами. Ты его друг.

Ты – кавказец. И тебе смывать наш общий кавказский позор. – Он протянул мне бумагу. – Мы тут составили прокламацию. Положишь на поганое тело. Даем тебе два дня.

Я взял браунинг, бумагу отдал ему. И сказал:

– Мы все очень горячие парни. Нельзя такое решать без Ильича. Поезжай к Ильичу. Расскажи ему все, и, если он решит, клянусь: я его убью. В тот же день убью.

Ночью я отправился на промыслы к Кобе. Екатерина тогда еще была жива. И он решил, что я от нее.

– Нету денег, – сразу начал он.

Я грубо прервал его и передал все. В заключение сказал:

– Тебе надо бежать.

Помню, наступила тишина. Если бы он согласился бежать, я, пожалуй, тотчас убил бы его. Но его глаза, бешеные, желтые, уперлись в меня.

– Ай, ай, ты тоже поверил? Еще другом называешься! К Ильичу ты правильно отправил. За это спасибо. Может, за это я тебя прошу...

Уже через день Кобу арестовали! Это часто делала полиция, спасая от нас раскрытых провокаторов. В тот день я пожалел, что не убил его.

Вскоре из Женевы (Ленин был тогда там) вернулся Шаумян. Я понимал: узнав о поспешном аресте Кобы, он устроит мне веселую жизнь!

И вот мы встретились с ним. Но вместо того чтобы начать кричать, к полному моему изумлению, Шаумян благостно сообщил:

– Нашего бедного Кобу ссылают на север. Я слышал, у него ни денег, ни теплой одежды. Давайте соберем ему деньги...

Я понял, что это и есть удивительный результат его поездки к Ильичу. И попросил его рассказать о разговоре с Лениным. Вместо рассказа он молча показал мне бумагу. Несколько строчек, написанных Лениным. Причем, подчеркивая их важность, Ленин написал их на бланке ЦК РСДРП: «Всякий, кто будет продолжать клеветать на товарища Кобу, будет немедленно исключен из рядов партии. *Ульянов*».

– Но что же все-таки сказал тебе Ильич?

Шаумян только усмехнулся и... промолчал. В нашей партии все было тайной, к этому я уже тогда привык.

Арестованного Кобу отправили в очередную ссылку на север. Из ссылки он снова сбежал с обычной легкостью. Потом было знаменитое, уже описанное мною нападение на Эриванской площади.

После чего мы с Кобой долго не виделись. Мне пришлось покинуть Россию, я жил в эмиграции за границей. До меня доходили слухи, что Коба еще раз арестован и опять все так же странно легко бежал из ссылки. В это время его избрали в ЦК – по личной протекции Ленина.

Причем после очередного побега Коба умудрился проехать в Вену. Хотя на всех железных дорогах лежала очередная жандармская телеграмма с приказом о его поимке, с описанием примет и фотографиями. Узнал я также, что он совсем отошел от эксов и боевой наш отряд распущен...

Теперь Коба жил в Петербурге на подпольных квартирах. В это время и случился тот самый благотворительный вечер, где его арестовали в шестой или седьмой раз (не помню точно).

Но на этот раз его отправили в гибельный край – в Туруханск. Я был уверен, что оттуда, как обычно, он легко сбежит. И ждал его в Питере. Но, к моему изумлению, в Питере он не появился. Вместо этого из Туруханска начали приходить жалобные письма. Несколько человек, близких к Ильичу, – Крестинский, семья большевика Аллилуева, с которыми Коба дружил, и я – все мы получили похожие послания. Коба жаловался на голод, холод, нищету. У меня сохранилось такое письмо ко мне, написанное по-грузински:

«Кажется, никогда еще не переживал такого ужасного положения. Деньги все вышли, у меня подозрительный кашель в связи с усиливающимся морозом. Здесь нет овощей. Мне нужно запастись на зиму хлебом и сахаром, нужно молоко – согреть легкие, нужны дрова... но нет денег, здесь все дорого. От губительного климата, однообразия пейзажа – тупой снежной равнины, низкого стального неба, тьмы полярной ночи – нам, привыкшим с детства к горам, буйным рекам, зелени, солнцу и голубой лазури, легко сойти с ума...»

Но вместо того чтобы, как обычно, бежать из этого ужаса, он почему-то покорно продолжал жить в нем.

Я не смог ему помочь. Меня самого арестовали в начале 1913 года... Но через год началась Первая мировая война, и арест спас меня от призыва на фронт.

Меня отправили в село Монастырское, в тот же Туруханский край следом за моим другом.

Это было ужасное путешествие. Арестантский вагон показался мне адом (хотя он был раем в сравнении с арестантскими вагонами Кобы, которые мне придется увидеть впоследствии). Длинный, бесконечный путь. Через зарешеченное окошечко – облака, леса, уральские горы... А потом – печаль и раздолье сибирской равнины... Пересадка на телеги в лютый мороз. На телегах въехали в Красноярский край. Потом лошадей сменили на оленей... Затем оленей поменяли на собак с нартами. По замерзшему Енисею приехали на край света в село Монастырское.

Село считалось культурным центром в этом диком и пустынном краю. Здесь были школа, церковь, полицейские власти. Жил здесь и сам полицейский пристав. Сюда ссылали важных политических заключенных.

Но Кобы в Монастырском я не нашел. Оказалось, его отправили жить в Курейку, где жили революционеры как бы второго разряда...

Курейка – крохотный поселок, затерявшийся за Полярным кругом в беспредельной снежной пустыне. Две сотни километров севернее нашего Монастырского – за краем света. Коба был прав: в Туруханском крае не произрастали ни хлеба, ни овощи. Но насчет голода он поэтически преувеличил: бескрайний Енисей был полон рыбы. Попадались такие гигантские осетры – человек не дотащит! И хлеб был дешев – жители пекли его сами и вдоволь. Но для нас, детей солнечного юга (здесь он опять прав), это были гибельные места. Свирепая зима с лютыми морозами и бесконечной ночью. Черная мгла тянется круглые сутки. Изю дня в день! Наконец проклятая полярная ночь сменяется холодом и сыростью, пробирающими до костей, – наступает полярное «лето». Под стальным, ножевым небом, закрывая его, поднимаются беспощадные тучи мошкары. И вокруг – однообразие, мучающее наш грузинский взор. Наверху – унылое небо без конца и края и столь же унылый, ровный простор без конца и края – внизу... В этом треклятом месте остановилось время. Здесь овладевает безнадежность. Наши товарищи порой не выдерживали – кончали с собой.

Тогда по всей стране шли непрерывные торжества – трехсотлетие Дома Романовых. Иногда до нас доходили газеты, и мы с отчаянием читали описания празднеств в Петербурге и Москве и невиданного прежде народного энтузиазма. Захлебываясь от восторга, газеты повествовали о путешествии царской семьи в Кострому – в Ипатьевский монастырь. В Смутное время здесь спасался отрок Михаил Романов, здесь началась династия Романовых. Царская флотилия «под грохот салюта, звон колоколов и под громовое „ура“ причалила к „царской“ пристани у Ипатьевского монастыря...». И фотографии: восторженные, тысячные толпы, заполнившие берега Волги!

Каково было нам, ссыльным, в забытом Богом краю читать все это! Строй казался вечным, как египетские пирамиды. Но когда мы читали про всенародные славословия в Ипатьевском монастыре, История уже готовила Романовым подвал Ипатьевского дома! Однако этого никто из наших лидеров не предвидел. Ленин с печалью признавался в письме к своему другу, одному из вождей нашей партии, редактору «Правды» Льву Каменеву: «Нет, не увидеть нам революции при жизни». Действительно, какая революция, если десятки тысяч человек гигантским хором поют «Боже, царя храни!».

Потом началась мировая война. К нам в Монастырское привезли арестованных большевиков, членов Государственной думы. Среди них знаменитости – тот же Каменев и рабочий Муралов, думский депутат, блестящий оратор, фото которого в царской арестантской одежде часто висело в домах большевиков. (Его фото в советской арестантской одежде хранится у нас на Лубянке. Как и фото Каменева. Коба расстреляет обоих.)

Как-то я решил навестить в забытой Богом Курейке своего горемычного друга Кобу. Это значило: двести километров на собаках, в открытых санях, в лютый мороз.

Мне рассказали, что в Курейке «наших» (большевиков) нет.

Правда, прежде в одной избе с Кобой жил уральский большевик Яков Свердлов. Но Свердлов сделал все, чтобы переехать в Монастырское.

Прежде чем отправиться в Курейку, я решил переговорить с ним.

Яков Свердлов – малорослый, узкоплечий очкарик с копной черных волос. Этот сын еврейского купца из Екатеринбурга сделался революционером после жестоких еврейских погромов, прокатившихся по России. Он был типичным революционером второго разряда. Но когда началась война, все наши главные вожди оказались в эмиграции или в тюрьмах. Людей не хватало. Те, кто знал Свердлова, сообщили Ильичу, что он «человек бешеной энергии». И Ленин, тогда даже не знакомый с ним, сделал его членом большевистского ЦК. Вот так Свердлов появился в Петрограде. Но вместе с Кобой его тотчас арестовали. (Его и Кобу выдал один из тогдашних большевистских вождей. Но об этом позже.)

Свердлов рассказал мне: «Жить с Кобой было невозможно. Ляжет к стенке лицом и молчит. Спрашиваешь: „В чем дело?“ Не отвечает. И так порой целую неделю. Это у тебя, Фудзи, отец богатый, ты служанку можешь нанять. А мой мне не помогает, нам здесь все надо самим: стирать, мыть посуду, убирать комнату. Коба никогда ничего этого не делал. Скажешь ему: „Твоя очередь мыть посуду, почему не моешь?“ Молчит. Готовить еду придумал так невкусно, что мне пришлось готовить за двоих. Но мою уху он очень любил... Тяжелый человек! Я не знал, как унести от него ноги, буквально убежал оттуда...»

Пристав взял немалую взятку. Поездку в Курейку разрешил и назначил стражника сопровождать меня.

Был обычный зимний день: то есть мороз сорок пять градусов, черная полярная ночь. Я сел в нарты, со мной рядом – стражник, он же управлял ими. Полетели нарты!..

Замерзший Енисей – ледяная пустыня. Вышла луна, все засверкало: заискрились ледяные торосы, снег стал призрачно-голубой. Безмолвие, торжественный покой, только яростный скрип под полозьями. Но вдруг резко задул ветер, скрылись звезды, завьюжило. Началась пурга! Ресницы вмиг покрылись льдом, лицо – ледяная корка, трудно дышать...

И вдруг... затих ледяной вихрь. Затих внезапно, как и начался. Все вокруг осветилась каким-то тайным небесным светом. Я смотрел на небо – Боже, какая неземная красота! Я шептал забытые детские молитвы... Вот так, на пути к Кобе, я впервые увидел северное сияние и вспомнил о Боге...

Поселок Курейка – это всего несколько разбросанных деревянных домишек.

В том месте, где маленькая быстрая речушка Курейка впадает в бурный полноводный Енисей, на небольшом холме стояла деревянная изба. Это и был дом Кобы. Но сейчас, когда обе замерзшие реки слились с землей в одно снежное пространство, он находился посреди бескрайнего белого поля.

Я вошел в избу в облаке пара. Нас со стражником встретила в сенях хозяйка – сухенькая женщина лет пятидесяти. Поздоровались.

– Постоялец твой где?

– Лежит на койке. Где ж ему быть!

Я дал ей деньги, попросил отогреть и накормить моего полицейского, который с удовольствием оставил нас с Кобой наедине.

Когда я вошел в комнату, Коба лежал лицом к стене на лежанке, он даже не повернулся.

– Здравствуй, Коба.

Молчание.

Я огляделся. В центре маленькой комнаты стоял круглый стол с керосиновой лампой. У стола – венский стул с гнутыми ножками, странновато смотрящийся в этой избе. У стены – продавленный диван. На стене, над диваном, висел капкан, в углу на полу валялись сети. Наконец он произнес, по-прежнему не оборачиваясь:

– Садись, дорогой... – И закашлялся.

– Ты болен?

– Я здесь всегда болен. Скоро заболеешь и ты. Мороз сорок градусов у них называется «оттепель». Мне нужно молоко, много дров, запас сахара и хлеба. Здесь все дорого. У меня нет богатых родственников, мне положительно не к кому обратиться. Точнее, я уже обращался... ко всем.

– Но есть фонд репрессированных.

– Видимо, не для меня. Я теперь на вторых ролях. Сдохнем мы все здесь... сгнием.

Чтобы как-то развеселить его, я сказал:

– Свердлов рассказывал, как он уху тебе варил, а ты ее уплетал за милую душу.

– Себе варил. Даст тебе жиденьш, как же! Сварит и сам жрет. Я все думал, как отнять ее у него.

И опять – молчание.

– Придумал?

– Он сварит, начинает жрать. Я дам ему съесть полпорции, потом подойду, спрошу: «Не хочешь ли и мне дать пожрать?» Молчит. Тогда я плюю в его тарелку! Он уже есть не может, мне отдает, – Коба прыснул в усы. – Мы с ним по очереди посуду должны были мыть. Он вымоет, потом моя очередь. Он пошел пройтись, приходит – тарелки блестят. Наливает себе ущицу, меня нахваливает: «Хорошо ты вымыл!» Я говорю: «Нет, я не мыл». – Здесь Коба оживился. – Не понял, Фудзи? – Он опять прыснул в усы. – Возьми на столе... – На столыке у лампы стояла грязная тарелка с остатками еды. – Теперь поставь ее на пол...

Я поставил. Коба крикнул:

– Тишка! – И присвистнул.

Тотчас из-под кровати пулей вылетела маленькая дворняга. Все породы мира соединились в хитрой бестии – там была лайка, немецкая овчарка, по-моему, даже такса. Она приветственно вильнула хвостом и с ужасной скоростью загремела оловянной тарелкой. Вмиг зализала ее до блеска. И... уползла под кровать. Оттуда раздалось урчание.

– Я ему рассказал про собачку, и опять он есть не может. Снова я ем его ущицу. После этого он сам мыл тарелки каждый день. Да, с ним было неплохо. Теперь без него не каждый день приходится есть. В наше издательство «Просвещение» написал: «Нет ни гроша, запасы вышли, мои жалкие деньги ушли на теплую одежду...» Молчат. Ильичу написал, просил прислать «сапоги», – (новый паспорт для побега). – Долго не отвечал, оказалось, фамилию мою забыл... Я ему как раб служил, а он забыл. Потом, видать, напомнили ему мое имя, письмо прислал, обещал выслать «сапоги», помочь устроить побег. И... опять молчание! Я ему статью о национальном вопросе отослал. Товарищ Ленин раньше ценил, когда инородец Коба переписывал в своих статьях его мудрые интернациональные мысли. А теперь ни слова в ответ. Забыли Кобу...

Замолчал.

Я сказал:

– Я привез тебе деньги, Коба. Родитель сжалился, помогает.

Он ответил равнодушно:

– Положи под лампу. – И, как обычно, даже не поблагодарил.

Помолчали. Сидеть с ним, молчащим, ох как трудно! Будто копится что-то тяжеленное на плечах твоих. Чтобы не молчать, решил прочесть ему любимые мои стихи из «Витязя

в тигровой шкуре». Божественные стихи! Но в разгар моего восторженного чтения он... захрапел!

Я был в ярости! Заорал:

– Я уезжаю!

Тотчас проснулся. И равнодушно:

– Катись.

Уже в дверях я сказал ему:

– Но все равно надо жить. Давай вместе убежим. Здесь есть одна норвежская торговая компания, у нее свои суда. Хозяин социал-демократ, у меня рекомендательное письмо к нему.

– Убежишь отсюда, как же! У меня стражник – зверь, два раза на день проверяет. Однажды ночью проверять придумал, разбудил! Хотел его выставить, выталкиваю из комнаты, едри его мать, так он мне шашкой руки изрезал! Да и зачем бежать? Чего хорошего нас ждет на свободе? – Он наконец повернулся ко мне. И только сейчас я увидел заросшее бородой, обожженное морозом красное, постаревшее лицо. – Ты хоть понимаешь, кто мы с тобой? Жалкие неудачники! В тридцать восемь лет все кричим: «Революцию сделаем, богачей уничтожим». А что уничтожили? Свою жизнь. Нам ведь под сорок... Жизнь, как говорится, уже «с ярмарки». Что у нас с тобою есть? Семья? Нету! Жена? Нету! Мы с тобой в партии, половина которой сидит по тюрьмам и ссылкам, остальные – по границам, в Парижах про Карлу Марлу спорят... Вот и все, чего я добился. В завершение моей «успешной» карьеры – *сдать ему меня разрешили*. Чего с Кобой церемониться!

Я изумился:

– Кто разрешил? Кому?!

Он посмотрел на меня большими глазами.

Не ответил, перевел разговор:

– Все вытерпеть можно – и мороз, и голод, и цепного пса-стражника. Но в этом проклятом краю природа скудна до безобразия, а я до смешного, до глупости тоскую по нашей родине...

Сколько я думал потом над этой странной, в гневе вырвавшейся у него фразой: «*Сдать ЕМУ разрешили... Чего с Кобой церемониться!*»

Кто это – он, которому разрешили «сдать» Кобу, я узнал после Революции. Он – некто Малиновский. Блестящий оратор, глава фракции большевиков в Государственной думе, знаменитый профсоюзный деятель, «русский Бебель», как его называл Ильич. Слух о том, что великолепный Малиновский – провокатор, появился задолго до вечера, где был арестован Коба. Но после того вечера окреп. Ведь никто, кроме Малиновского, не знал, что Коба придет туда.

И тогда Ленин на таком же бланке ЦК написал о Малиновском точно такую же отповедь, как в случае с Кобой: «Всякий, кто будет продолжать клеветать на Малиновского, будет немедленно исключен из партии...» Было объявлено, что слухи про Малиновского сеет полиция.

Однако после Февральской революции в Департаменте полиции обнаружились документы, неопровержимо доказавшие, что «русский Бебель» – обычный провокатор. Ильичу пришлось капитулировать.

Понял я загадку Малиновского много позже. Это было в ноябре 1946 года (когда я во второй раз вернулся из лагерей). В то утро слушал радио – была очередная годовщина Октября. Кто-то рассказывал, как партия накануне Революции боролась с провокаторами и как разоблачили Малиновского...

На следующий день я встретил в нашем Доме на набережной все того же Сольца. Несчастный в мое отсутствие, видно, стал совсем безумным, все время что-то писал

на листочках. За ним неотрывно ходил наш «товарищ», который эти листочки у него аккуратно отбирал. Сольц отдавал их ему с равнодушной улыбкой, как ребенок, наигравшийся игрушкой.

Я как раз вышел из лифта, когда в подъезд вошел Сольц, возвращавшийся с прогулки. Я поздоровался.

– Слышали это безобразие по радио? – спросил он и добавил безумно: – Разошлите немедленно радиogramмы: «Всем! Всем! Военная, вне очереди». Диктую текст: «Малиновский не провокатор...» Кстати, *ваш друг – тоже...*

– Товарищ Сольц, зайдите в лифт. – За ним тотчас вырос его постоянный спутник. Открыл кабину спустившегося лифта и попытался втолкнуть в него Сольца. Но тот яростно упирался.

– Я прошу вас, – крикнул он мне, и глаза его стали совсем сумасшедшими, – сообщите Обвинителю на Страшном суде: это было наше задание. Мы, «тройка», им *разрешили – Ильич, Красин и я... мы это придумали!*.

Наконец его спутник молча и грубо затолкал старика в лифт. Уже оттуда Сольц как-то весело подмигнул мне. Я до сих пор думаю: был ли он и вправду безумный. Или это игра, как у принца Гамлета...

Но именно в тот миг я окончательно понял тайну Кобы.

Да, Малиновский и Коба были одной из многих секретных, великих ленинских игр. В то время полиция засылала провокаторов в наши ряды. Ильич вместе с «тройкой» придумал ответ. Отправить «наших» в их ряды. Коба и Малиновский были нашими «двойными агентами». И ситуацию с тайной полицией Коба использовал на сто процентов. Отсюда легкость, с которой он убегал из ссылок. Отсюда и успех многих наших эксков. Я уверен, Коба сообщил полиции, что мы нападём на экипаж с деньгами. Но главного не сообщил – *когда и где*.

С Малиновским – похожая история. Будучи тайным осведомителем, он получал от полиции свободу. И спокойно громил царизм в своих речах в Думе и статьях в «Правде». За это приходилось ему порой жертвовать типографиями и революционерами второго разряда. Но постепенно полиция начала понимать, что пользы от Малиновского куда меньше, чем вреда.

То же в случае с Кобой. Охранка окончательно разуверилась в нем, и ему пришлось перейти на *истинно* нелегальное положение. Прекратить экссы. Ильич подыскал ему новое занятие – организовывать выборы в Думу... В это же время разочаровалась полиция и в Малиновском. Но он и его «Правда» были очень нужны Ильичу. Малиновскому велели любыми средствами вернуть доверие полиции. Нужна была крупная жертва. Видимо, тогда решили отдать кого-то значительного, но более не нужного.

Коба идеально подходил для этого – член ЦК, руководитель дерзких эксков, живший на нелегальном положении. Да, Коба был незаменим, пока совершал экспроприации – источник вольготной жизни Ленина и эмигрантов за границей. Но теперь он руководил рутинным делом – работой фракции. То есть выполнял полученные из-за границы указания Ленина. Это могли делать и другие. Малиновскому позволили выдать его полиции.

Все это конечно же понял и сам Коба, когда его арестовали. В тридцать семь лет его посчитали революционером второго разряда. Его, отдавшего партии жизнь! «*Разрешили... Чего с Кобой церемониться...*» Но он уже не мог так легко бежать из ссылки, полиция теперь была его врагом. Все эти обстоятельства перевернули окончательно душу моего несчастного друга. Когда-то он потерял веру в Бога. Теперь он потерял веру в другого бога – Ленина.

Я думаю, поэтому впоследствии Коба не трогал Сольца. Сольц единственный из членов «тройки» остался в живых. Только он мог подтвердить, что связи Кобы с полицией –

ленинское задание. Сольцу верили. Старые большевики по-прежнему считали его совестью партии.

Что же касается Малиновского, то ему Коба отплатил. После Февральской революции Малиновский спасался за границей. Но каково же было общее изумление, когда после нашего Октябрьского переворота провокатор Малиновский... открыто вернулся в Петроград. Он, видимо, приехал за наградами, но его немедленно арестовали. Малиновский конечно же потребовал вызвать Ленина. Он не мог понять, что его история не красит новую власть. Короче, его поспешно перевезли в тюрьму в Москву.

В те дни я и Коба находились при Ильиче (об этом я еще расскажу подробнее).

Мы оба были в кабинете Ленина, когда пришел Дзержинский.

– Этот негодяй Малиновский требует, чтобы мы привезли его к вам, Владимир Ильич.

Он упорно твердит: «Ленин все объяснит».

Ильич побледнел, и тогда Коба предложил:

– Владимир Ильич, позвольте мне разобраться с мерзавцем.

Ленин долго молчал, потом сказал:

– Разберитесь...

Коба вернулся при мне. Доложил Ильичу:

– Опоздал. Трибунал приговорил его к расстрелу и уже... Жаль. С удовольствием повесил бы его за яйца!

Мне рассказывали, будто на самом деле Коба успел. Он вошел в камеру Малиновского... А резолюцию о расстреле Малиновского революционный трибунал принял позже.

Это конечно легенда. Но я никогда не заговаривал с Кобой ни о туруханской ссылке, ни о Малиновском. Я был умный.

Новый Коба

В Монастырском я прожил совсем недолго. Вскоре со мной связался тот самый капитан-швед, работавший в Заполярье на судне норвежско-русской паровой компании. Он был социал-демократ и имел задание помогать бежать русским ссыльным революционерам. Он предложил мне свои услуги. Я договорился, что со мной, возможно, будет мой друг.

Я опять заплатил приставу и отправился в Курейку со стражником.

Приехали поздним вечером, в одиннадцатом часу. Комната Кобы оказалась закрытой.

Хозяйка сказала:

– Ваш гуляет! Известно где! У Перепрыгиных, – фамилию могу перепутать. – Он теперь там пропадает. У них там каждый божий день гулянка и праздник. Потому они и нищие. – И объяснила: – Это на самом краю деревни. Изба у них ветхая, чай, не пропусти...

На краю деревни стояла приземистая, вросшая в землю изба. Оттуда неслись звуки гармоники. Я войти сразу не стал, подошел к окну.

В окно я увидел Кобу. С яростным лицом, слипшимися волосами, он отплясывал какой-то невероятный танец... Потом отошел к стене и по-хозяйски обнял толстенную, беленькую совсем девочку. Он что-то шептал ей на ухо, она смеялась, потом они пошли прочь из комнаты... Я понимал – войти в избу сейчас не надо. Но я проехал двести километров! Поколебавшись, все-таки решился войти в темные сени. Призрачный свет бил через оконце. Согнувшись, она громко стонала в темноте... Сзади над ней навис Коба... И его бешеный шепот:

– Уйди, уйди, говорю!

Я вышел на улицу.

Но все же счел нужным его дождаться. Вернулся в его комнату.

Пришел он после полуночи, хмельной, веселый. Бежать со мной опять отказался:

– Буду ждать.

– Чего?

– У моря погоды! Отчего-то чую, она изменится. Стражник у меня уже поменялся. Хороший мужик, предупредительный, может, тоже... чует. Теперь могу делать, едри их мать, что хочу, – рыбачить, охотится. На днях он меня к вам в Монастырское повезет. Книжек наберу, соскучился по книгам.

Я понял: лежащий лицом к стене, обреченный Коба – это было представление. Он просто хотел, чтоб я давал ему деньги.

Но новый Коба, ненавидящий обманувший его мир, был правдой...

Уже после моего побега Коба переехал к Перепрыгиным – в пристройку...

Потом я слышал, что в Курейке у него родился сын от той девицы... Нищая изба Перепрыгиных не дожила – развалилась. А вот та, первая изба на самом берегу реки, в которой я его навещал, сохранилась. Через тридцать с небольшим лет над ней был воздвигнут великолепный павильон. Рядом с ним бронзовый молодой Коба смотрел на свое жалкое прошлое.

Его дьявольская интуиция! Уже в мое отсутствие ситуация начала стремительно меняться. Жестокие поражения русской армии вызывали ужас, отчаяние по всей стране. Но у нас, ссыльных только счастливые улыбки. Это было наше, партийное: «Чем хуже в стране, тем лучше для дела Революции». Вскоре даже здесь, на краю света появились калеки, мрачные, усталые, привыкшие убивать и отвыкшие работать. Но Молох требовал новых жертв. Началась мобилизация в армию среди ссыльных. Каменеву, Муралову и про-

чим большевикам службу в армии не доверили, но Кобу призвали. Думаю, здесь, на его беду, сыграли роль его былые отношения с полицией.

Везли его через Монастырское. Вышли встречать все сидевшие большевики. Он сказал, прощаясь, Каменеву:

– Не поминайте лихом. Чую, с фронта не вернусь!

Повезли моего друга по реке, потом по бесконечной тундре. Как он потом сам рассказывал, везли полтора месяца. В самом конце 1916 года, измученного, полузамерзшего, привезли в Красноярск на медицинскую комиссию. Но его спасла от армии высохшая рука.

Будущего генералиссимуса и Верховного главнокомандующего самой могущественной в мире армии признали негодным к военной службе.

Толстяк посылает апостолов

В это время я прибыл в Европу. Мой побег и путешествие по России с фальшивыми паспортами – длинная эпопея, ее пропускаю.

Я очутился в тихой Швеции, в мирном, уютном Стокгольме.

Здесь меня встретили. Оказалось, помогли не только мне. В это же время из множества ссылок было организовано бегство членов русских революционных партий. За всеми этими удачными побегам, как оказалось, стоял один человек...

Два дня я отдыхал в крохотной гостинице рядом с чудесным парком. На третий день меня привезли в Старый город. На Торговой площади, где когда-то казнили, стояли два здания XVII века. В одном из них располагалось маленькое кафе.

В этом набитом до отказа кафе было тесно и шумно. Нас собралось человек тридцать. Я с изумлением понял, что все собравшиеся говорят по-русски!..

Вошла огромная, потная, жирная глыба, переваливавшаяся на коротких ножках. Толстый, трудно дышащий человек с висящим подбородком тяжело плюхнулся на стул. И тотчас впился глазками-буравчиками в аудиторию... Я запомнил его лицо, обрамленное черными волосами и бородой, крохотный нос, придававший ему какое-то детское выражение. На вид мужчине было лет пятьдесят...

Все затихло. Он заговорил по-русски:

– Вы не знакомы друг с другом. Но у вас одна судьба. Вам всем помогли бежать из ссылок и русских тюрем. Вас посадили в тюрьму или отправили в ссылку в мире, охваченном жаждой людей убивать друг друга. Сегодня вы освободились в совсем ином мире. За два года войны и крови в вашей стране и в Европе накопились страшная усталость, апатия и ненависть к войне. Все утомилось, обветшало. Вы увидите когда-то образцовые немецкие санитарные поезда. По грязи и ужасу они теперь сравнялись с русскими. Идет кровавый поток раненых с человеческой бойни, называемой фронтами. Под эти поезда отдаются теперь товарные вагоны, где стонущие, умирающие люди лежат на нарах с соломой. Между нарами обычно бегают одинокий врач и священник. Все пропитано запахом человеческих испражнений и йодоформа. Великие княгини и эрцгерцогини, навещавшие прежде раненых, остались на фотографиях. Вы увидите лагеря военнопленных, охраняемые старыми солдатами. Все молодые посланы умирать на фронт. Из этих лагерей легко бежать военнопленным. Но мало кто бежит, люди не хотят вновь попасть на фронт... Газеты продолжают славить войну и пишут о подвигах в обеих армиях. На самом деле войну ненавидят и тут и там... Однако это уже не прежняя ненависть к врагу, но новая – к тем, кто послал воевать. Ваша задача – подогревать эту ненависть. Запрещенными книгами, личными беседами. Нынешний мир готов к огню великой и очистительной Революции. Ваше дело – изо дня в день разжигать костер! Призывайте солдат повернуть штыки против своих угнетателей!..

Выступавшего звали Парвус.

Был такой анекдот. Человек приехал в Палестину, но так сложилось, что пробыл он там всего один день. Его спрашивают о впечатлениях. Он говорит: «Их очень много. Я встретился с евреем, сумевшим сделать огромные деньги, и я видел еврея, мечтавшего разрушить мир денег, я видел еврея, готового погибнуть за счастье трудового народа, и я видел еврея, беспощадно эксплуатировавшего трудовой народ...» – «И ты сумел их всех повидать за один день?» – «Это оказалось нетрудно, потому что это был один человек».

Таков был и Парвус. Еврей, родившийся в России в еврейском местечке в черте оседлости, притом ненавидевший свою родину. Урод и... Дон Жуан, помешанный на женщинах. Миллионер, мечтавший... обрушить мир богатых, раздуть мировой пожар Революций! В десятые годы мы все зачитывались его статьями в «Русской газете». Он писал их вместе

с Троцким – я уж не помню, кто из них сказал об этом союзе: «Мы были тогда, как две струны на арфе Революции». В 1905 году, пока я прозябал в эмиграции, Парвус делал нашу Революцию. Вместе с Троцким руководил легендарным первым Советом рабочих депутатов. Арестован, сидел в Петропавловской крепости, отправился в ссылку, по дороге бежал, потом очутился в Германии... Приехал к немцам революционной знаменитостью. Но в Германии с ним случилась какая-то темная история. (Впоследствии я узнал подробности. Наш знаменитый пролетарский писатель (Горький), живший тогда в эмиграции, поручил ему собирать деньги, причитающиеся за постановку его пьесы «На дне». Пьеса шла тогда во множестве европейских театров. Сам Горький согласился только на пятую часть от доходов. Остальные средства Певец Пролетариата благородно отдавал немецкой социал-демократии. Но никто ничего не получил. Как издевательски невозмутимо объяснил потом Парвус: «Все потратил на путешествие в Италию с одной барышней». Думаю, солгал, попросту говоря нашим революционным языком, «экспроприировал», забрал деньги у богатого писателя. Разбирательство товарищей по партии было тайным... Как он и предполагал, социал-демократы не посмели сделать гласной историю кражи столь известным революционером-марксистом.) Но тогда я знал о нем лишь то, что знали все: он эмигрировал в Турцию, здесь составил огромное состояние. И теперь тратит его на мировую революцию...

В дальнейшем он вновь возникнет в моем повествовании.

Меня, в совершенстве владеющего немецким, он послал в Австро-Венгрию, в славянские части австрийской армии, призывать их к братанию и бунту. Все это время я курсировал между Стокгольмом и Будапештом, и все это время Парвус присылал мне инструкции.

Про Кобу я тогда забыл. В январе 1917 года я был вновь вызван в Стокгольм. В том же кафе собрались революционеры из радикальных партий – в основном эсеры и анархисты. Были несколько меньшевиков, большевиков представлял я один. И опять перед нами выступил Толстяк (как мы называли между собой Парвуса).

Сначала он прочел нам вслух... секретные донесения Департамента полиции царю! В них Николая предупреждали о наступающей катастрофе: «Озлобление растет... Стихийные выступления народных масс... – угрожающе читал Парвус, – явятся началом самой ужасной из всех анархической революций, бессмысленной и беспощадной...»

Я был потрясен, не знаю, чем больше – текстом или тем, что этот фантастический человек держал в руках сверхсекретный документ русской спецслужбы.

Но далее пришлось изумляться больше. Он сообщил нам о заговорах в самой царской семье и в Думе. Он знал и об этом!

– Они решили сместить «сумасшедшего шофера». Так они теперь называют царя, который везет страну в пропасть... Недавно тифлисский городской голова от имени пятнадцати членов царской семьи предложил великому князю Николаю Николаевичу произвести переворот и провозгласить себя царем. Сменой царя они хотят помешать грядущей Революции. Нашей Революции. К счастью, великий князь отказался, но нам надо спешить. Восстание должно начаться раньше, чем они успеют совершить дворцовый переворот и замирить страну! Поторопимся!..

Я до сих пор не знаю, он ли организовывал волнения в Петрограде. Однако в конце своей речи он нам объявил:

– Вы все выезжаете в Россию к своим партиям. Я посылаю вас, как Христос послал в мир апостолов. Вы апостолы Мировой Революции. Идите в мир, проповедуйте и разожгите мировой пожар!..

Как большевик я был послан в Петроград – связаться с большевиками. Эсеры и меньшевики получили задание связаться со своими партиями.

Февральскую революцию я встретил в Петрограде. События, изложенные здесь, запомнились мне отрывочно. Советую вам проверять их последовательность.

Революция

Помню точно, что в двадцатых числах февраля я шел по Невскому, не зная, что в последний раз вижу этот исчезнувший нынче мир. Вскоре закроются мои глаза, и уйдет навсегда та картинка...

Февральский снег с дождем. Пробирает до костей ветер с Невы. Ненавистный город императоров. Атлантида несравненной красоты, которую мы мечтали отправить на дно. Чужой, по виду иностранный город: немецкая прямизна проспектов, на Александровой колонне у царского дворца ангел обнимает католический крест... В шинели, небрежно наброшенной на плечи, промчался в коляске кавалергард. В изящном ландо проезжает дама в вуали. Огромная шляпа с цветами, как корабль, плывет над толпой; откинувшись на сиденье, дама в лорнетку осматривает публику. Околоточные появились на улице, дворники вышли за ворота – прежде это значило, что вскоре проедет царь... Но теперь царь на фронте. Скорее всего проедет всесильный министр Протопопов. Вся сила которого исчезнет в эти три дня... вместе с трехсотлетней империей.

Но пока в Летнем саду еще гуляют степенные бонны с детьми. Статуи античных богов заключены в ящики, оберегающие их от зимней непогоды, стоят меж голых деревьев... Спокойный, размеренный, сонный дневной мир столицы великой державы... Будто нет никакой войны, будто не погибают в эти минуты под пулями вопящие «ура» люди...

Мы должны были взорвать трехсотлетний российский мир.

Как только царь уехал в Ставку, в столице начались перебои с хлебом. По чьей-то команде на окраинах стали собираться недовольные толпы. Вскоре они хлынули в центр города. Сперва шли по тротуарам, заунывно выкрикивая: «Хлеба! Хлеба!» Потом вышли на мостовые... Огромные, все растущие толпы. И в них обязательно были мы, посланцы Парвуса, как правило, эсеры или меньшевики. (Большевиков в столице в это время – раз, два и обчелся. Верхушка партии – Ленин и прочие лидеры – в эмиграции в Швейцарии, остальные – по тюрьмам и ссылкам.) Объясняем, призываем «прогнать кровавого царя». К нам присоединяются студенты. И вот уже над толпой поднимаются откуда-то взявшиеся транспаранты: «Долой войну! Долой самодержавие!»

Теперь во всех митингующих толпах обязательные ораторы – студент, курсистка и мы, посланцы Толстяка! На нас – на митингующую толпу – как-то устало, явно нехотя, наезжают казаки, разгоняют. Люди разбегаются по маленьким улочкам, и казаки... уезжают! Тотчас толпы собираются вновь.

Как я уже говорил, всего год с небольшим назад Ильич заявил: «Нам, нынешнему поколению революционеров, не увидеть Революции в России». И вот в Петроград приехал посланец от Ленина. Передал мне удивительное письмо. Ленин писал, что вскоре ожидается Революция! «Восстанет Петроградский гарнизон. Гарнизон состоит из выздоравливающих раненых и проходящих военное обучение резервистов, то есть сынков влиятельных людей, укрывшихся от фронта. Вся эта публика готова на все, только бы не идти на фронт. Восстание солдат в провинции – это бунт, восстание в столице – Революция. Ваша задача: незамедлительно связаться с нашими петроградскими большевиками. Действуйте и еще раз действуйте! В 1905 году мы проспали Революцию, на этот раз мы этого не допустим».

Но «наших» пришлось искать. Петроградские большевики по-прежнему скрывались в подполье и очень осторожничали. С большим трудом согласились встретиться со мной днем в Александринском театре, где билетером работал весьма редкий в столице большевик.

В те дни в Александринском шли генеральные репетиции пьесы Лермонтова «Маскарад». «Маскарад» – мистическая пьеса. В 1941 году, в день объявления войны, ожидалась ее премьера в Москве... И тогда, в конце февраля 1917 года, в дни гибели Империи, готовилась ее премьера в Петрограде...

«Наш» билетер провел меня в пустое фойе – репетиция уже началась.

Там ждал меня представитель той самой кучки петроградских большевиков. Невысокий, приятный, аккуратненький, в пенсне. Увидев меня, он оторопел и воскликнул:

– Коба?! – Но тут же понял: ошибся. Сказал с усмешкой: – Вы с ним похожи.

Оказалось, они были с Кобой вместе в одной из ссылок.

Так я познакомился с Вячеславом Молотовым. (Молотов – партийная кличка, его настоящую фамилию – Скрябин – я узнал после революции.)

Он повел меня на нелегальную квартиру знакомиться с остальными большевиками.

Перед тем как уйти, я решил хоть глазком поглядеть на спектакль, уж очень много ходило о нем слухов. Попросил «нашего» билетера, он тихонечко приоткрыл дверь в ложу, я встал за портьерой. Ложи и зал были переполнены, шла генеральная репетиция. Декорация ошеломила! Гигантские зеркала, золоченые двери, люстры – водопады хрустала! Это была декорация мира, который там, на улице, уходил в небытие...

Я вернулся в фойе. Молотов встретил меня насмешливой улыбкой: такие глупости, как театральные спектакли, его тогда не интересовали.

Мы вышли на Невский. Был разгар дня. Все те же толпы беспорядочно двигались по улицам.

Молотов шел впереди, я – за ним, проверяя, чтоб за нами не было хвоста.

Квартира оказалась на Кронверкском. Как и положено, вход в подпольную квартиру был до предела запутан. С переулка вошли в здание городской биржи труда, потом пробирались через какую-то лавку, затем поднялись по пыльной, сто лет не убиравшейся лестнице. Далее открылась анфилада комнат, почему-то уставленных пустыми столами. В конце анфилады пряталась крохотная дверца – входить, точнее, заползать в нее пришлось пригнувшись.

Здесь в двух комнатных ютился Петроградский комитет партии большевиков. Шло совещание главных сил нашей недобитой партии. Двое весьма непрезентабельного вида молодых людей сидели за дощатым столом президиума, украшенным всевозможными чернильными кляксами и длинной надписью «Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Лассаль».

Это и были руководители петроградцев – Шляпников и Залуцкий. Аккуратненький Молотов тотчас подсел к ним за стол – в президиум заседания. Главным в тройке явно был Шляпников.

Он уже посидел в тюрьмах, пожил в эмиграции, являлся, кажется, членом Французской социалистической партии. Единственный из тройки он знал европейские языки. Однако по-русски говорил с простонародным волжским акцентом. По виду – типичный рабочий, носил, как Молотов, косоворотку и пышные усы мастерового.

Он важно пригласил меня подсесть к ним. Я сел за стол.

Напротив нас на стульях и подоконнике разместились десятка полтора человек – весь оставшийся на свободе актив партии.

Сразу перешли к обсуждению плана действий. Я прочел письмо Ильича, но обговорить его не успели. Помню, вбежал человек, выкрикнул:

– Товарищи! Павловский полк восстал! – Торопливо начал объяснять: – Гвардейцам приказали разогнать демонстрацию, они отказались!

Но его уже не слушали. Восстали солдаты! Мать родная, да это же она – Революция! Все опрометью бросились на улицу, орали «ура!».

Мы добежали до Конюшенной площади.

Там, окруженная гвардейцами-преображенцами, стояла толпа гвардейцев-павловцев. В Павловский гвардейский полк по традиции должны были набираться курносые, малорослые, похожие на императора Павла мужчины, в отличие от Преображенского полка, куда со времен Петра брали только рослых и прямоносых. Но все это было прежде.

Теперь резервистов набрали с бору по сосенке, и там и тут встречались курносые и прямоносые, маленькие и высокие. Но дух безумного императора остался в Павловском полку. Волнения начались у них первых.

Офицер-преображенец вяло уговаривал толпу павловцев вернуться в казармы, уныло грозил расправой.

Испуганные, очумелые солдатские лица. Но в казарму не идут. Топчутся, выкрикивают:

– Мы за свободу. Нет у вас, ваше благородие, такого разрешения, чтоб в народ стрелять! Не хотим!

Вокруг уже собралась огромная толпа зевак. Из толпы я услышал:

– За священником послали «к Пушкину»... Чтоб усовестил.

(Совсем рядом была церковь, где отпевали убитого Пушкина.)

Я подумал: сейчас батюшка придет, уговорит разойтись. И потеряем такое!

Но повезло. В этот самый решительный момент подлетел в коляске полковой начальник – полковник. Стал лицом к павловцам. И матерком их! Заорал:

– Я вам покажу, как бунтовать, мерзавцы, так вас разэтак! – И опять матерком.

Я его лица не увидел. Помню только голову в фуражке и шею, толстую, баранью. И голос зычный. Как же он разорялся!..

Вижу, начали колебаться павловцы. Глаза в землю уперли.

Понял: вот он, самый решительный миг. Револьвер (браунинг) рывком из кармана. Из-за спин, не целясь, пальнул в полковничью голову...

Вздых толпы... Исчезла шея.

Восторженное лицо Шляпникова и спокойное, невозмутимое – Молотова...

Могли, конечно, тотчас меня схватить. Я уж приготовился пробивать револьвером дорогу. Ан нет!

Шляпников:

– Беги!

Подхватили, зашептали в толпе:

– Беги, товарищ!

И я дал стрелкача оттуда! Бежал и уже не сомневался: теперь они дело продолжат. С испугу продолжат.

Рассказывал Шляпников: когда я сбежал, пришел священник «от Пушкина». Начал уговаривать разойтись. Да поздно. Солдатики знали – убийство полкового теперь на них. Отступать некуда. И продолжили. Вечная сладкая зараза русского бунта...

Вскоре к павловцам присоединились запасные полки – Волынский, Литовский и... Преображенский! Гуляй, резервисты! Куда лучше, чем на фронт – умирать. Уже к вечеру двадцать седьмого весь стотысячный петербургский гарнизон был на стороне Революции. Город оказался в руках восставших. До смерти не забуду: Невский проспект, и по нему – по мостовой – идет толпа в полсотни тысяч человек. Кто и как ее собрал?! Никто не знает. Толпа затопила всю проезжую часть и тротуары, громыхала «Марсельезой». Вмиг стала вся красная – от бантов, флагов и повязок на рукавах.

Какие это были прекрасные, очень солнечные, морозные дни... Никто в Петрограде уже не ходил по тротуарам, ходили революционно – по мостовой. В три дня в столице не осталось ни верной армии, ни могущественной церкви, ни прежнего быта. Трамваи встали, экипажи и извозчики вмиг куда-то исчезли. Магазины закрылись. Только на Невском

почему-то работал магазин цветов. Множество солдатиков с ружьями слонялись по улицам. С радостными лицами и без офицеров. Уже начали господа офицерики прятаться!

Я агитировал в казармах. Уходя, слышу, как один солдатик другому:

– Победили царя, так-то! Таперича свобода!

В ответ главный вопрос под общий хохот:

– Это что же, братки, на фронт боле не итить? Перепуганная, не знающая, что делать, Дума!

Бунтовать при царе было легко, от толпы защищали царские штыки. И вот теперь... В первые дни проснувшейся народной стихии думцы испугались, что их объявят зачинщиками. Эти трусы носились по городу – искали царских министров, чтобы выразить свою верноподданность. Тщетно! Царские министры сбежали.

Но и сам наш восставший народ традиционно жаждал хоть какой-то власти. И петроградский гарнизон – полуграмотные крестьяне в солдатских шинелях – попер к Думе! Только тогда, после бесконечных колебаний, думцы создали некое подобие правительства – Комитет Государственной думы, чтобы управлять этой проснувшейся, пугающей толпой. «Темной стихией», – как говорили они. «Революционной», – как говорили мы!

Жалкие людишки сидели в Думе!

Помню, как я впервые отправился в пекло – в Таврический дворец, где заседал этот самый Комитет Государственной думы. Я жил тогда на окраине. Пешком пришлось пересекать город... Как же я наслаждался долгожданным воздухом Революции! Ах ты, любушка моя, Семнадцатый год! Как я жалел, что нет со мной моего удалого друга!..

Мимо Петропавловской крепости постарался пройти побыстрее. Крепостные ворота были угрожающе закрыты, да и красного флага над крепостью не подняли. Красными флагами присягали тогда Революции. Зато как перешел Троицкий мост, у Летнего сада увидел все то же радостное безумие красной, кровавой краски! Все та же толпа, увешанная красными бантами, шла по мостовой. Через толпу с трудом пробирались легковые автомобили. Солдаты с винтовками лежали на их крыльях. Везли вождей Думы на заседание. Но я не сомневался – это только начало. Разве этим господам справиться с восставшей стихией! Будто в ответ на мои мысли – целая вереница грузовиков. В кузовах – матросня, мужики – по виду мастеровые, девушки – по виду курсистки. И солдаты. И опять без офицеров. Размахивают руками, что-то кричат. Стрельба по поводу и без повода. От восторга! «Пальнем-ка пулей в Святую Русь!» Дошел до здания охранного отделения и обомлел. Оно горело. Пламя освещало огромную толпу, весело глазевшую на жалкие попытки двух пожарных (остальные давно разбежались) справиться с огнем... Толпа радовалась – горит старая жизнь. Не понимали – горит картотека секретных агентов полиции. Успели поджечь. Но кто? Глупые молодые революционеры? Или некто заинтересованный? Полиция или провокаторы? Или все вместе? «Кто их нынче разберет!»

У самого Таврического дворца – месиво, скопление солдат и грузовиков. Пришли присягать Думе. С красными повязками на руках или с красными бантами на серых шинелях. Серое с кровавым солдатское море топчется у колонн дворца... В грузовики грузят какие-то припасы, оружие. По чьему приказу? Куда? Может, нет никакого приказа, попросту грабят?! На мостовой – недалеко от Таврического – брошенная пушка, и рядом ящики со снарядами. Бери, стреляй, воруи. Делай, что хочешь! Наша Революция!

Выбежал из дворца, встал на верхней ступеньке глава Думы, громадный задыхающийся Толстяк Родзянко – так его прозвал царь. Теперь он сам – царь! Зычным командирским голосом прокричал в толпу:

– Служите доблестно свободному Отечеству, солдаты Великой России!

Солдатня пропустила ненавистное «служите», зато радостно восприняла бесконечно повторяемое нынче слово – «свобода». И дружно закричала «ура!».

Родзянка (так его называют солдатики) уже исчез во дворце... И тотчас ожил поток желающих попасть туда. Поток понес и меня вверх по лестнице. Охрипшая охрана у входа молила: «Пропуск, господа! Показывайте пропуска! Где ваш пропуск?» Какой тут пропуск! Человеческой волной пронесло меня внутрь мимо охраны, дальше по коридору. Здесь прямо на полу сидели солдаты – ружья сложены в пирамиды, курят махорку, пьют чай, закусывают хлебом с селедкой или попросту спят, растянувшись на полу. Дворец, превращенный в казарму. Революция! Все-таки я дожил!

Между солдатами куда-то бегут, спешат депутаты, ухоженные, в отличных визитках. В бесчисленных комнатах заседают бесчисленные комиссии.

Насмешливый голос сзади: «Наполеон глядел на толпу, штурмовавшую дворец короля, и отметил: „Одна батарея вмиг рассеяла бы всю эту сволочь!“ Одну хорошую роту! Клянусь, одной хватило бы!..»

Оборачиваюсь. Офицер – полковник – разговаривает с другим офицером и не боится! Я приготовился схватить негодяя, но его уже унес живой поток. Этот сукин сын не понимал: прелесть Революции в том, что дивизии и батареи, и вправду могущие ее остановить и уничтожить, почему-то не появляются. Должно быть, так же Людовик XVI в Версале, как теперь наш Николашка на фронте, гадал: куда же исчезло его верное дворянство, где она, столь послушная вчера армия?

В тот день я долго толкался в коридорах Думы, пытаюсь понять, что делать нам, горстке большевиков. Уже под вечер, выйдя из дворца, увидел частую тогда картину. Опасаясь расправы, в Думу приходили сами сдаваться царские министры, полицейские чины. Но иногда их приводила разъяренная толпа. Помню, как солдатики волокли по ступеням седобородого в великолепной шубе с бобровым воротником. Видно, кто-то из больших сановников. По-революционному волокли – за этот самый бобровый воротник. Седобородый покорно-жалко семенил. Уже кричали снизу из толпы:

– Да что его вести! Кончай мерзавца!

И в этот самый миг на ступени Думы, на этот нынешний народный форум, пулей вылетел из дворца некто во френче – худой, весь дергающийся. Будто заклиная, выкинул руку! И яростно, страшно, приказным тоном крикнул:

– Оставьте мне этого человека! Его будет судить наш беспощадный революционный суд!

Такое бешенство, такая угроза была в его крике! Толпа в страхе замолкла.

И он увел арестованного в глубь дворца.

Увел в особый павильон внутри, где они преспокойно сидели, защищенные думской охраной от ярости Революции. Этот, во френче, их попросту спасал. Керенский (это был он) – не настоящий революционер. Он боялся крови. Разве могут управлять Революцией те, кто страшится крови! Нет, они обречены.

Как же я презирал их тогда... Газеты славили мирную Революцию, но я знал – дудки! Таковой не бывает! Это пока только репетиция настоящей... Но она – настоящая – уже в пути! Как я ждал, звал ее... Прочел в газете: «Убит тверской губернатор!» В гарнизоне начали постреливать – «их благородий» – офицеров. Она просыпалась, безумная в похоти, наша красавица, кровавая девка, истинная русская Революция! Разве захочет она долго спать с этими приличными господами?!

Однако был *другой*, который крови не боялся. Он, как и я тогда, мечтал о ней – о беспощадной Революции. Наш Ильич. Находился он в это время далеко, в Швейцарии, запер-

тый войной, отделенный от России территорией вражеской Германии. Но, зная его бешеную энергию, я не сомневался – придет... Если нужно, долетит на крыльях!

И был еще один, который понимал кровь. Мой друг Коба.

Рождение новой власти

Наконец-то! Я получил телеграмму от Кобы. Он вместе с ссыльными большевиками выехал на поезде из Туруханска в Петроград. Влиятельный думский депутат меньшевик Чхеидзе был мой дальний родственник. Все жители нашей маленькой Родины, если порыться в родословных, – родственники. Я отправился к нему просить автомобиль для достойной встречи. Все-таки приезжали Каменев и Муралов – депутаты Думы. Да и мой друг Коба был членом ЦК революционной партии. Все они пострадали, как тогда говорили, «при проклятом царском режиме».

Я наткнулся на Чхеидзе в коридоре. Родственник стоял, сверкая лысиной. Рядом – в зеленом френче узколицый, носатый, вечно возбужденный Керенский. В этот миг в коридоре показался шумно дышащий председатель Думы Толстяк Родзянко.

Родзянко, как обычно в те дни, мчался по коридору, но они его перехватили. И я стал свидетелем сцены, изменившей судьбу России.

Керенский зашептал (сорвал голос на митингах), обращаясь к Родзянко:

– Мы тут посоветовались... Необходимо немедленно образовать Совет рабочих депутатов.

– Зачем? – изумился Родзянко, уставившись на него глазами, окруженными фиолетовыми (от недосыпания) тенями.

– То есть как зачем? Такой Совет был детищем первой нашей Революции в пятом году. Его разогнал царь. Нам непременно следует указать на преемственность Революций, – шептал Керенский.

– Вы уверены, что это не увеличит... как бы сказать... – Родзянко остановился, стараясь выразиться поделикатнее и не обидеть «революционеров», как наверняка про себя называл эту пару.

– Анархию, – подсказал Чхеидзе и ответил: – Совсем наоборот! Рабочие поймут, что есть защитники их прав. Им не надо будет все время митинговать. Достаточно будет прийти в Совет и поговорить.

– Ну хорошо, господа, если надо – так надо! – неуверенно согласился Родзянко. – Еще раз: как будет называться ваш Комитет?

– Совет! Совет рабочих депутатов! – прохрипел Керенский.

– Ну, хорошо, хорошо, господа, пусть Совет, – успокаивающе сказал Родзянко. – Только без анархии, очень прошу вас, господа. И будьте ответственны. Я и так не понимаю, что у нас происходит. Телеграмма за телеграммой уходят в Ставку к государю, но «безумный шофер» не отвечает! – Родзянко уже собрался продолжить бег по коридору, но мой рассудительный родственник спросил:

– А где заседать Совету?

– Действительно? – остановился Керенский, который тоже приготовился лететь дальше.

Родзянко задумался.

Тогда кто-то из солдат, куривших, сидя на полу, лениво подсказал с пола:

– Отдай им, барин, номер двенадцать, там таперича никого. Мы из нее стулья утром повынесли в главный зал, она у тебя пустая.

– Совершенно точно, господа, – оживился Родзянко. – И это не обычная комната, это, можно сказать, целая зала... Там прежде сидела наша бюджетная комиссия... Там есть отдельный кабинет для председателя вашей комиссии...

– Совета, – поправил Керенский.

– Ну, с Богом, господа... Только без излишеств. – И Родзянко весело побежал по коридору. Керенский – вслед за ним.

Так в пару минут они создали главный орган будущей Революции, который уничтожит их всех...

Тотчас несколько человек, дотолпе стоявших поодаль, подошли к Чхеидзе. Они были меньшевиками и эсерами, освобожденными утром толпой из петроградской тюрьмы. И выбранными в Совет другой толпой – на площади перед Думой.

Здесь же в коридоре эти бестии вместе с моим родственником, меньшевиком Чхеидзе, быстренько назначили руководство Совета – Временный Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов.

Но, слава богу, рядом оказался я:

– Позвольте, господа, а где же в вашем Исполкоме большевики?

– Это временный комитет... Выборы истинного Исполнительного комитета Совета состоятся завтра утром, – успокоил Чхеидзе.

Клянусь, я сразу понял: вот она – власть восстания! Как в 1905 году! Ну конечно же Совет – не эти перепуганные думские князья и графы. Разве они смогут руководить слоняющейся без дела грозной толпой? Совет заберет себе ее волю! Нам надо захватить Совет.

Уже к вечеру через посланца я вызвал для совещания всю троицу руководителей петроградских большевиков.

Молотов, в неизменной косоворотке и пиджачке, помалкивал, поблескивая пенсне. Говорили, перебивая друг друга, Залуцкий и Шляпников.

Шляпников, окая, кричал (в эти дни люди разучились говорить спокойно):

– Горит Питер! Фейерверк, восторгу нашего расейского много. Но как устанут от восторга и спросят: «Как без царя жить?» И опять испугаются, как в первую Революцию... Там, глядишь, величество с фронта пожалует, да с войсками...

Залуцкий подхватил:

– Нет, царь так сдастся... На-кась выкуси... Нужны наши действия. Подогревать надо народ! Ежечасно!

– Взорвать, взорвать что-нибудь надо! – кричал Шляпников.

Они что-то еще вопили в восторге и безумии.

Помню, я засмеялся и сказал:

– Ерунда! Монархия кончена! Не поняли? Победная Революция – это идея, мобилизовавшая штыки. В первую Революцию штыков у нас не было. Теперь они с нами. Завтра и мужичок проснется. Он у нас огонь любит. Да как начнет палить господские усадьбы. Как петуха красного запустит!..

Молотов молча слушал. Наконец ему надоело, и он начал говорить. Я впервые услышал, как он сильно заикается. (Вот почему был такой молчаливый. Самое удивительное – это заикание и привычка больше молчать в будущем спасут его. Только молчальники сумеют пережить и Революцию, и времена Кобы. Сам Коба подозрительно относился к ораторам, он не любил много говорить из-за акцента.)

– Все это пустые разговоры, – сказал Молотов. – Надо, во-первых, снова наладить выпуск «Правды!»

(Это была наша главная партийная газета.)

– По-моему, хочешь быть ее редактором? Будь! – щедро распорядился Шляпников.

– Во-вторых, нам нужно достойное помещение для партии, – продолжил Молотов.

– Если монархия и вправду падет, можно будет занять какой-нибудь дворец великих князей, – предложил Залуцкий.

– Это не выйдет, – сказал я. – Великие князья наверняка перейдут на сторону новой власти, все они не любят царя. Новая власть их дворцы вряд ли тронет. Но помещение, и как можно пошикарнее, нам нужно немедленно, здесь товарищ прав. Вот его и получим.

Все устали на меня.

– Прогоним царскую блядь. Особняк Кшесинской – воистину дворец и стоит в хорошем месте.

– Мысль здравая, – согласился Шляпников. – У нас есть свои люди в броневом дивизионе. Они помогут.

– Дивизион не беспокойте. Дворец она освободит сама, – заверил я.

Устались:

– Как это?

– Объясню потом. Нынче важно другое. Завтра начнется дележ власти в Совете. Нам надо потребовать участия большевиков в его руководстве...

На следующий день с утра мы были в Таврическом дворце. У дворца та же картина – тысячи у входа... В Екатерининском зале – плотная толпа, через нее мы вчетвером протиснулись в помещение Совета, в комнату номер двенадцать.

Во всю величину комнаты – бескрайний, покрытый сукном стол.

В зале человек двести: сидят, стоят, ходят, переговариваются. Шум, гам. Идут выборы. Как и положено подпольщикам, вся троица кроме имен имела партийные клички: Залуцкий – Петров, Скрябин – Молотов, Шляпников – Беленин... Оказалось очень удобно. Предлагают в бюро Молотова, а за Молотова среди прочих голосует весь аккуратненький с аккуратненьким носиком аккуратно постриженный Скрябин... Шляпников и Залуцкий выкрикивают: «Беленин!» И зал, жаждущий поорать, кричит: «Беленин!»

Под псевдонимом Беленин избран Шляпников... Далее все то же – троица выкрикнула: «Петров!» – и избрали Залуцкого. А потом всю троицу избрали уже под собственными фамилиями. И меня тоже дважды. Так что в Совете оказалось восемь большевиков. Мы много тогда смеялись.

Веселившихся, счастливых Залуцкого-Петрова и Шляпникова-Беленина через двадцать лет расстреляет мой друг Коба, который ехал в это время в поезде из Туруханска в Петроград. И вместе с Кобой подпишет расстрельный список их нынешний самый близкий друг, аккуратненький Молотов-Скрябин.

Помню, как в дверях вдруг появились солдаты. Серые шинели, тесня собравшихся у стола президиума, грозно орали. Сначала за столом президиума испугались. Но выяснилось: солдатики не угрожают. Просто хотят участвовать в Совете.

– Мы тоже желаем советоваться! Почему обижаете?

И тогда мы вчетвером хором прокричали:

– Солдат в Совет! Солдат принять!

В тот день он родился – Совет рабочих и солдатских депутатов.

Помню восхищенное лицо Керенского за столом президиума. Он сразу оценил: теперь под началом Совета есть самая грозная сила в столице – солдатня. Та, слонявшаяся по улицам без офицеров, серая бритоголовая вооруженная толпа.

Так что начинал Совет заседание говорунами, но закончил – силой.

После выборов Совета состоялись выборы Исполкома. Молотов, по предложению все тех же Залуцкого-Петрова, Шляпникова-Беленина, Скрябина и Фудзи-меня, был избран в его состав.

Про меня, мобилизовавшего всю троицу участвовать в выборах, троица как-то забыла. Забыл и мой родственник Чхеидзе, ставший председателем Исполкома, той самой грозной новой власти. И так будет всегда. Я никогда не буду на вершинах. Возможно, потому я и остался в живых.

Уцелеет и Молотов. Но если по роду дальнейшей деятельности я всегда находился за занавесом, он оказывался перед ним. В свете юпитеров, на страницах учебников. Однако старательно заботился при этом не играть самой главной роли. Он в чем-то – мой двойник. Ибо мы оба с ним были прислужники: я – тайный, он – явный. Но если на Страшном суде нас спросят: «Чем вы занимались?» – думаю, оба ответим Всевышнему одинаково: «*Выжидали, Господи...*»

Уже на следующий день Исполком Совета начал контролировать все действия Думы. Совет тотчас стал второй властью. Точнее, главной властью.

Действовать жестоко и грубо под защитой власти Молотов умел. Он быстро организовал постановление Исполкома Совета, в котором предписывалось: освободить огромное здание на Мойке, принадлежавшее какой-то монархической организации, для большевистской газеты «Правда». Молотов стал ее редактором. У дверей редакции появилась вооруженная охрана – восемь солдат, согласно постановлению Исполкома.

Пора было действовать и мне.

Большевицкий дворец блудницы

Днем я пришел к особняку Кшесинской. Через ограду был виден безупречный английский газон. На этом стриженном лужку гуляла маленькая козочка. Эту козочку выводили на сцену, когда Кшесинская танцевала Эсмеральду. В саду резвился сынок балерины – мальчик в кудряшках. Незаконный сын кого-то из великих князей. Он играл с фокстерьером и козочкой. За ним наблюдала весьма нужная мне молодая девица.

Эта была любимая служанка балерины. Неделю назад я сумел с ней познакомиться и вступить в самые близкие отношения. От нее я и узнал, что больше всего на свете она ненавидит свою госпожу! Это бывает с любимыми слугами.

Теперь я был в курсе всего, что происходило во дворце. Балерина последние дни очень нервничала, боялась нападения толпы на дворец.

Я передал служанке записку, которую она будто бы нашла на лужайке. В ней я написал: «Скоро наступит твой Судный день. Берегись, царская блудница!»

На следующий день очередная гигантская толпа вышла на улицу. Покрытая красным кумачом, она, как обычно, двинулась к Думе мимо дворца Кшесинской.

Из редакции «Правды» я позвонил во дворец и попросил хозяйку.

Испуганный женский голос:

– Алло.

– Добрый день, госпожа Кшесинская. Хотя сегодня он не очень добрый для всех нас. Я звоню вам из кабинета Александра Павловича... – (градоначальника Петрограда Балка), – по просьбе его превосходительства. Не сочтите за труд, Матильда Феликсовна, подойти к окну. Вы их видите? Эту бесконечную толпу?

Она (совсем испуганно):

– И что?

– У нас есть сведения: чернь нападет на ваш дворец... С часу на час.

– Но как же так?! Немедленно пришлите охрану.

– Боюсь, сударыня, вы не понимаете нынешней ситуации. Командующий гарнизоном генерал Хабалов и военный министр Беляев, к сожалению, исчезли в неизвестном направлении... Обстановка слишком опасна для вас. Я ваш верный поклонник, сударыня. Мне горько говорить вам, я прошу прощения... но злые люди именуют вас «госпожой Дюбарри»... Я хочу надеяться, что вас не постигнет ее участь.

– Что мне делать?

– Собрать самое ценное... Надеть на себя все самое простое... И прочь из опасного дворца. Спасайтесь, дорогая Матильда Феликсовна!

– Нет, нет! Тысячу раз нет. Я не брошу мой дом! Соедините меня с градоначальником.

– Непременно, как только он появится. Ибо он тоже исчез, и, думаю, надолго. Власть в городе... точнее, ее нет... она у толпы. Простите, мадам, но мне тоже пора уносить ноги... У нас уже стреляют.

Я повесил трубку. После чего по моему знаку по дворцу балерины выстрелили с улицы. Я представил ее лицо, когда в ее зимнем саду, обращенном к Петропавловскому собору, с хрустальным звоном разлетелось огромное стекло. Как рассказала потом «моя» служанка, после выстрела Матильда тотчас убежала в спальню. Вернулась с фокстерьером в одной руке и ридикюлем в другой. Там были сложены ее драгоценности. К восторгу служанки, она надела ее пальто! Взамен отдала ей восхитительную шубку из горносталя.

Далее состоялось представление, которое наблюдал дежуривший у дворца Шляпников. Кшесинская, в жалком пальто, в белом пуховом платке, надвинутом на глаза, торопливо вышла из дома. В одной руке у нее были крохотный фокстерьер и небольшой ридикюль.

(Там лежала жалкая часть того, что осталось у нее от всех несметных богатств... Прочие вещи, как я сообразил, наверняка брошены во дворце.) Другой рукой она держала маленького сына. Он хныкал, упирался, не хотел идти, требовал взять с собой козочку. Но она его тащила по улице, умоляя:

– Тише... тише... только тише!

Броневой отряд – это, пожалуй, единственная часть в столице, которая тогда подчинялась большевикам. После ухода балерины я вызвал его, и солдаты заняли весь первый этаж. Изысканный винный погреб хозяйки был конечно же сразу опустошен, и на лужку на костре жарилась на закуску бедная козочка Эсмеральды.

Помню, как мы ходили по дворцу. Красная ковровая дорожка на лестнице, лепные украшения, бронза... В зимнем саду – камин карарского мрамора, ослепительно-белая мебель и великолепный белый рояль. Я сразу понял, что в этом зимнем саду удобно устраивать конференции. Так что рояль мы вынесли... В подвальном этаже я обнаружил две гигантские гардеробные. Открыл первую. Боже мой! Никогда не видел столько горностаевых палантинов, шуб, платьев, огромных шляп, украшенных цветами, кокетливых маленьких парижских шляпок. В другой гардеробной висели ее костюмы из постановок и несколько мужских мундиров с орденами и аксельбантами. Как зло объяснила служанка, «все мундиры – романовские». Ее последнего любовника, великого князя Владимира, предыдущего – Сергея Михайловича и даже первого – царя... Все сохранила! В спальне – невиданного размера кровать, тоже, можно сказать, романовская. На нее после царя она впускала только великих князей.

Помню, как торжествующий Шляпников вышел на балкон. Нескончаемая толпа подошла к особняку и теперь текла мимо него. Опьяненный успехом, Шляпников решил перейти в большевистское наступление. Он прокричал с балкона:

– Граждане! Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков!

Толпа тотчас остановилась. Обрадовалась, что можно кого-то приветствовать и, главное, кричать. И задрожали стекла от рева: «Ура!»

Подперли задние, запрудили улицу, толпа росла, становилась огромной.

– Конец ненавистному царскому режиму! – продолжал Шляпников.

– Ура!

– Ура, товарищи! Ура! Ура!

Они готовы были кричать «ура» бесконечно, требовалось только прибавлять про свободу и «ненавистный царский режим».

Потом Шляпников обратился к толпе с любимыми ленинскими мыслями:

– Товарищи! Капиталисты и помещики хотят продолжать кровавую бойню. Они велят нам: «Защищайте Россию!» Но не о России они радеют, а о своем богатстве. Вон у Родзянки сколько земли в Екатеринославской губернии... В Новгородской едешь лесом, спросишь: «Чей лес?» – отвечают: «Родзянковский»... Товарищи, давайте подумаем – не променяли ли мы шило на мыло? Нужны ли нам все эти графы, князья и прочие, мать их, родзянки?

Восторженный рев толпы.

– И еще, – совсем разошелся окающий Шляпников. – Почему на Петропавловской крепости до сих пор нет красного флага? Может быть, в ледяных казематах по-прежнему томятся наши братья? Не пойти ли нам всем миром в эту самую, мать их так и разэтак, крепость?

– Ура! – поддержала толпа и уже начала разворачиваться идти в крепость, как откуда-то выскочил молоденький офицерик. И неожиданно басовито закричал:

– Что ж ты такое несешь, сукин ты сын! Гражданин Родзянко сына своего единственного на фронт послал. Он и с царем за нас воевал, пока ты этому царю поклоны в церкви отбивал. «Отдам последнюю рубашку, жизнь сына и свою отдам, только была бы жива Россия...» – это Родзянко при мне сказал. Я офицер из Петропавловки и говорю вам: мы за вас! Никаких заключенных у нас давно нет, сволочь ты штатская. Стрелять по нам захотел?! Может, на фронт пойдешь вместо того, чтобы в тылу жировать? Вообще, граждане, не немецкий ли шпион этот сукин сын?

– Правильно! – охотно завопила толпа. – Тащить его в Думу! Ура!

Я понял: пора действовать. Броневой отряд в толпу стрелять не будет. Еще мгновение – толпа ворвется арестовывать Шляпникова и заодно разгромит особняк.

Я выскочил на балкон и заорал на Шляпникова:

– Ишь, гнида вонючая! С Петропавловкой воевать! Откуда ты здесь такой взялся?! – И грозно кому-то в комнату: – Арестовать его! И в Думу его, мерзавца!

Вытолкнул его с балкона в комнату. Все сделал, как научил Керенский. И закончил, как закончил бы он. Не давая опомниться толпе, заорал:

– Ура, товарищи! Ура – нашим братьям, доблестному воинству Петропавловской крепости! Ура – нашей великой Революции! Ура – гражданину Родзянко, председателю Комитета нашей Думы!

Счастливым воплем толпы:

– Ура!

Я запел «Марсельезу», толпа подхватила.

Я вернулся с балкона в залу. Молотов, посмеиваясь... преспокойно пил чай! Железные нервы! Сколько раз в будущем, глядя на него, я подумаю о том же. Бледный Шляпников расхаживал по комнате и яростно грыз ногти. Он был очень самолюбив. И сейчас здорово меня ненавидел.

После этого я решил увеличить охрану дворца. Неожиданным оплотом оказался Кронштадт, где сразу захватил власть удалой большевик мичман Раскольников. Я телефонировал ему, и он прислал отряд матросов. Они встали на постах вокруг дворца. Столь понятная для улицы революционная сила – матросы. «Клешники» – как звала их улица (матросы носили брюки клеш, удачно расширившиеся от бедра книзу)...

Уже через несколько дней дворец было не узнать. В верхних комнатах все прокурено махоркой. По заплеванным и засыпанным окурками лестницам сновали матросы и многочисленные члены нашей партии. Белая мебель стала замысловато пятнистой.

Чхеидзе наконец-то вспомнил обо мне, и я стал членом исполкома Петроградского Совета. Помню, как в Совет пришло великое известие: революционные железнодорожники заперли царский поезд у Пскова и царь оказался мышью в мышеловке.

В тот же день я предложил от имени большевиков выслать грузовики с солдатами в Псков, захватить Николая Кровавого и привезти его в Совет. Предложение приняли. Но пока мы голосовали да грузовички снаряжали, посланцы от Думы тайно рванули к царю на поезде. Наши грузовики остановил на пути к Пскову командующий фронтом генерал Рузский.

Следующей ночью пополз слух – царь в Пскове отрекся. Неужто свершилось! То, о чем год назад нельзя было даже помыслить: победила революция!

И покатила она, как колобок из сказки, из столицы по всей стране. С какой быстротой сдавалась повсюду царская власть. Почти везде губернаторы, полицейские чины, начальники гарнизонов торопливо присягали Думе. Но и это не спасало – арестовывали и кое-где постреливали.

В городских думах прилюдно топтали, кромсали царские портреты, заодно досталось и портретам прежних самодержцев. Но одно было непонятно: если такое общее остервенение против власти, почему эта власть не пала раньше? Впервые за жизнь я испытывал удивительное ощущение – отсутствие страха. С рождения мне внушали страх. Если слишком веселился в детских забавах, отец объяснял мне, какой это грех – *веселиться*, не выучив уроки. В семинарии мне объясняли, как я виноват перед Богом, потому что люблю грешный мир и его удовольствия. Страх, беспокойство, осознание «виновности» самого твоего существования было в самом воздухе Империи... И когда я стал революционером, появился еще один – животный страх при виде любого полицейского... Теперь же будто что-то спало, ушло тяжеленное бремя страха. Впервые за тридцать семь лет жизни я никого не боялся!..

Но уже на следующее утро страх вернулся. Прибежал надежный человек и сообщил, что царь и вправду отрекся, но отрекся в пользу брата. Двое думцев, добывших отречение, – октябрист Гучков и монархист Шульгин – только что вернулись в Питер. Откушав в при вокзальном ресторане, сейчас отправились в железнодорожные мастерские, благо, расположены они совсем рядом с вокзалом. Там уже собрали людей на митинг, и они провозгласят царем брата Николашки Михаила... Значит, прав был Шляпников? Ничего не случилось: матушка Расея на мгновение проснулась и... повернулась на другой бок – продолжать спать! Вот и вся Революция! Опять слякотная власть и толстожопый полицейский?!

Времени не было. Мы с Молотовым (он из этой петроградской тройки всегда казался мне самым толковым) помчались в мастерские. Приехали вовремя.

Помню, солнечное мартовское утро через стеклянную крышу освещало помещение, черную толпу рабочих, заполнивших огромный ангар. Люди толпились внизу у помоста, иные залезли на стоявший здесь же в ангаре паровоз. Гучков, знаменитый думский оратор, очень бледный, по лицу видно – нервничавший, влез на помост – говорить. Но я – тут как тут... Залез туда же, встал за ним. Молотов остался в толпе – заводить народ.

Гучков начал рассказывать о царском отречении. Какая это народная победа и какой он сам герой, ибо всегда был в оппозиции к царю, и какая это радость – смена монархов. В конце, как дьякон в церкви, залиvisto провозгласил:

– Да здравствует государь всея Руси Михаил Второй!

Тотчас, не теряя времени, я закричал в черную толпу:

– Товарищи! Зачем нам новый Романов? От одного избавились, теперь другого сажают на шею? Измена, братцы! – изо всех сил выкрикнул. Голос у меня слабый, так что сразу охрип! Но все равно попал в яблочко! Народ зашумел:

– Не нужен нам царь! Нам Романовы не нужны!

Я, счастливый, хрипло, но грозно добавил:

– Не закрыть ли нам двери, чтоб разобраться с этими господами в бобровых шубейках? Снова получилось!

– Закрыть! Закрыть! Измена! – с одобрением заревела толпа.

– Отречение в пользу царского отродья Михаила Романова отобрать! – продолжал хрипеть я.

Я видел, как радостно, с готовностью начали закрывать двери ангара, как растерялся, стал жалким такой грозный в Думе Гучков...

Но тут опять знакомая беда. Некто совсем молоденький вскочил на платформу. Закричал возмущенно во весь голос (голос молодой, сильный!):

– Это что же такое творится, друзья! Гражданин к царской власти ездил, и они его не тронули! Хотя заарестовать могли! Даже пострелять! А мы с вами, рабочие люди... Гражданин Гучков к нам пришел, чтоб с нами поделиться, а мы его... За что?!

И тотчас другой думец – лысый усатый монархист Шульгин – протиснулся к трибуне, забасил оглушительным, начальственным, барским голосом:

– Граждане, сейчас идет экстренное заседание правительства совместно с представителями Совета. На нем обязан присутствовать ваш гость Василий Иванович Гучков. Попрошу его более не задерживать!

Веселый рев толпы:

– Открыть им двери! Пущай заседают!

Они пошли к выходу. Выдержали, шли неторопливо. Вот так, в зависимости от силы крика, жалкое стадо, наш знаменитый «глас народа – глас Божий» принимал свои решения. Это и есть Революция! Сколько раз я еще увижу подобное в этом треклятом веке.

Впрочем, все эти размышления нынешние. Размышления старика. Тогда яростный, сильный, я только прохрипел:

– Выпустили манифест из рук, проклятые глупцы!..

Шли обратно вместе с Молотовым. Я молчал. Заговорил он сам:

– С нашими голосами на такие митинги не ходят. С такими голосами можно не то что голос – голову потерять.

А ведь он был прав. Мне бы понять уже тогда простую истину: если голос у тебя тихий, лучше молчи!

Конец царской армии

Я уж не помню точно, но, кажется, это было сразу после отречения царя. Я пришел в Совет, чтобы до конца обговорить торжественный церемониал встречи наших туруханских большевиков. Однако даже начать не успел – вбежал какой-то солдатик:

– Царь в Думу приехал сдаваться, вот те крест! На ступенях стоит! Пошли смотреть, ребята!

Все мигом побежали на крыльцо, я – за ними.

Перед дворцом гремела музыка и разворачивалось очередное представление. Под звуки оркестра в безукоризненном строю молодец к молодцу выстроился знаменитый царский Морской экипаж. Тот, кого солдатик принял за царя, – высокий, в мундире с аксельбантами, в золотых погонах великий князь Кирилл Владимирович. С потерянными лицом он взбежал по ступеням. Наверху важно стоял толстый Родзянко. Великий князь, вытянувшись перед Толстяком, о чем-то рапортовал. Солдатики вокруг кричали «Ура!».

Но сзади я услышал:

– И чего кричат! Ежели у нас Революция, нужно этого Романова к стенке. Ежели ее нет, к чему весь сыр-бор?

Я обернулся. Стоит серая шинелька, рука на грязноватой перевязи, глаза – хмельные, беспощадные. Я еще раз понял: у нас пока не пожар, у нас пока дымок. Настоящий пожар впереди... Прав Бакунин: мужик наш любит огонь! У нас еще не настоящая Революция, а только ее обманное, благостное начало...

В тот день я так и не успел поговорить о прибывавших туруханцах.

Когда вернулся в комнату Совета, внутрь уже было не протолкнуться. Вся комната забита солдатиками. За столом – вальяжный меньшевик Соколов, вчерашний успешный присяжный поверенный, любимец дам. В революцию пришел за властью... Настоящей власти он так и не обретет, зато во времена Кобы получит пулю... Но в начале Революции было его время – время говорунов! Сей златоуст являлся тогда влиятельным человеком в Совете.

Сейчас он важно восседал за столом. Стол облепили серые шинели. А он приятнейшим баритоном читал вслух изумивший (точнее, восхитивший) всех текст:

– В армии отныне *избираются* ротные, батальонные комитеты, каковых выбирают *сами* солдаты. Они и есть теперь *власть* в воинских частях.

Рев восторга:

– Ишь как загнул!.. Дальше читай!

– Дума имеет право издавать приказы по армии, только если они не противоречат постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов.

Счастливый вопль солдат. Голоса:

– И чтобы солдатам более не тыкали... На «вы» нас пусть называют... И чтоб оружие у офицера забрать!

– Добавим, – кивнул Соколов и продекламировал: – «Все оружие изымается у командного состава и *передается в распоряжение ротных и батальонных комитетов*».

Общий рев:

– Любо! Режь дальше!

Серые шинели окончательно закрыли Соколова. Уже не он читает, а они диктуют ему... Принял участие и я. И как-то неожиданно оказавшийся здесь же Молотов. Он тоже подавал реплики из-за солдатских спин. Тихим, тонким, заикающимся голосом, а толпа враз подхватывала хриплыми глотками:

– Отменяется отдача чести вне строя и титулование командного состава «благородиями» и «превосходительствами»...

Восторженный рев. Чей-то выкрик:

– Мы теперь сами баре!

Хохот:

– Правильно! Голосуем!

Лес серых рукавов...

Это и был текст приказа Совета под номером один, после которого царская армия перестала существовать.

Бриллианты балерины

Во дворце Кшесинской события развивались! Мы уже тогда решили создавать нашу Красную гвардию из рабочих и верных солдат. Требовалось закупать и перекупать оружие, которое теперь было у солдатских комитетов. Нужны были деньги.

Я понимал: балерина не могла унести все в маленьком ридикюле. Драгоценности лежат где-то во дворце. Я обыскал все, но ничего не нашел!..

Обычно я ночевал с подругой-служанкой на огромном ложе балерины. Ей очень хотелось побыть госпожой. Она надевала ночью пеньюар Кшесинской. Мысль, что на этой кровати забавлялись Романовы и сам царь, очень возбуждала ее, а меня здорово злила. Когда же она попросила меня примерить мундир отца ребенка балерины великого князя Владимира, я ее возненавидел... Но терпел. Потому что чувствовал: сучка знает, где камешки. Она отрицала. Однако во всех комнатах я поставил круглосуточную охрану, чтобы она не вынесла ничего. Наконец она поняла: без моего ведома их не получит.

И вот однажды ночью она зажгла свечу и уселась на огромной кровати.

– Зря ищешь, без меня не найдете. Дашь треть – покажу, где она спрятала.

Я согласился.

Изголовье кровати карельской березы было украшено резьбой: райское дерево и возле него Адам и Ева с яблоком.

Она встала на кровати и с силой надавила на это самое грешное яблоко. Изголовье тотчас раздвинулось, за ним оказалась стена, оклеенная обоями.

– Здесь, – сказала она.

Я соскоблил ножом обои. Под ними был обычный сейф. Я участвовал во множестве эксков, открыть подобный сейф не составляло большого труда. Требовались только инструменты...

Утром пришли петроградские товарищи – Шляпников и Залуцкий. Я велел отыскать воровскую фомку и газовую горелку.

Принесли довольно быстро, видно, партия хорошо усвоила завет Нечаева – «соединиться с разбойничьим миром». Орудия фомкой и горелкой, я открыл сейф мгновенно. Как сверкнуло в темноте! Он был набит драгоценностями. Помню великолепную диадему с крупными бриллиантами и причудливые украшения из золотых пластин: нагрудники, витые золотые спирали...

Моя подруга пояснила со злой усмешкой:

– Это золото она надевала пятнадцать лет назад, когда изображала Клеопатру... Едва прикрытая этими золотыми пластинами – одеянием Клеопатры, полуголая, верховодила она особым представлением. Она называла его «живые картины». Происходили «живые картины» в Стрельне, у нее там огромный дом. Точнее назвать – дворец. Еще точнее – бордель. Она собирала в нем нас, совсем молоденьких начинающих балеринок. – Я уставился на нее, она засмеялась. – Да, я была тогда начинающей балериной... но недолго... Собирали нас в танцевальной зале. Слуги гасили свечи, уходили, а мы ждали. В темноте открывались двери залы, и целая толпа молоденьких великих князей врывается в комнату. Хватали нас на руки или просто волокли... И с нами исчезали в комнатах дворца... Мы не успевали разглядеть их в темноте, прежде чем начать раздвигать ноги... Это называлось «Похищение сабинянок»... И если некоторые дуры вроде меня влюблялись в своего похитителя, она быстро приводила нас в чувство. Мне сказала: «Посмотри на ноги... С такими короткими ногами больше одного раза с тобою...» Кстати, у нее самой толстые короткие ноги, но Матильда всегда была уверена, что неотразима. Это действует на вас, баранов...

Она еще что-то рассказывала про свою хозяйку, с такой же «любовью». Но я уже плохо слушал. Я смотрел на все эти сокровища и подсчитывал. Можно было выручить состояние! По моему лицу она почувствовала неладное. Испуганно посмотрела на меня. Я сказал ей правду:

– Ты должна быть сознательной. Все это пойдет на оружие для новой Революции. К власти придут такие же, как ты... Потерпи! Завоеем власть и тогда с тобой расплатимся щедро.

Нельзя сказать, что я вел себя честно, но Революция требовала. Как же она меня честила, несознательная, бедная барышня. Даже бросилась драться. Пришлось матросикам выставить ее из дворца. Теперь ночи мои стали безрадостными, но зато я смог перестать ночевать на проклятом ложе, измазанном романовской спермой. Историческую кровать я велел сжечь, спальню превратили в канцелярию партии.

Возвращение Кобы

Скорости Революции... За день она проживает столетие. Так что зря старались Шульгин и Гучков. Даже жалкому Временному правительству, назначенному Думой, стало ясно: нового царя быть не может. Да и старого, так покорно согласившегося отречься, нельзя было оставить на свободе. Я точно знаю, они клятвенно обещали Романову отправить его с семьей в Англию. Но пришлось им отправлять их под домашний арест в Царское Село. И вчерашних своих знакомцев, царских министров, таких же господ, как они, поселить в казематы Петропавловки.

Сделать все это заставили правительство Совет и господа меньшевики и эсеры, бывшие там в комфортном большинстве. Они не понимали, что ускоряли, разгоняли Революцию на свою голову!

Как ярко светило в те дни мартовское солнце! Но уже где-то зарождался шторм, невиданная буря. Все старое должно было быть низвергнуто. На вершины готовились подняться новые гиганты, которые при падении окажутся жалкими карликами и погибнут в крови истинной русской Революции.

Освободив место для *одного*.

Я ехал на вокзал. По весеннему Петрограду, залитому столь редким здесь ослепительным морозным солнцем. Встречать друга Кобу. В воздухе стоял запах гари. Догорали, дымились, тлели остовы полицейских участков, охранных отделений...

После моих настойчивых просьб Чхеидзе выделил для встречи два автомобиля. Вот и все. Никакой официальной делегации от Совета не было. Пришли встречать поезд немногочисленные петроградские большевики, к счастью, тотчас обросшие толпою зевак.

Поезд с туруханцами подходил к станции. Толпа не знала, кого мы встречаем, и не понимала, кому мы приветственно кричим. Но тогдашней петроградской толпе хотелось одного – митинговать. Услышав знакомое – про «жертвы проклятого царского режима и героев великой Революции», народ дружно орал: «Да здравствует!»

Вот так приветственным ревом встретил Петроград вчерашних политических заключенных и среди них – моего друга, безвестного неудачника Кобу...

Я и сейчас вижу, как он первым сходит с поезда – в валенках, в черном пальто и круглой фетровой шляпе с жалким узелком в руках. Темное лицо его стало еще старше. Первый раз за тридцать восемь лет Коба был награжден столь шумными аплодисментами. Он испуганно, как-то затравленно озирался.

Вслед за ним под ликование зевак из поезда появились остальные туруханские ссыльные и главная знаменитость – Каменев. Помню, как Каменев, импозантный, с бородкой, о чем-то говорит с Кобой...

Тут Коба спохватывается и начинает рыться в узелке. Потом торжественно передает Каменеву... носки!

– Не надо, – улыбается Каменев. – В Петрограде не холодно. – И великодушно возвращает носки Кобе.

(В это время повсюду перестали топить – и в поездах тоже. В вагоне было пронизывающе холодно. Бедный мой друг, так и не привыкший в ссылке к холоду, мучился, мерз. Тогда Каменев отдал ему свои единственные теплые носки.)

– Спас ты меня, друг, спасибо. – Коба целует Каменева влажными губами...

Кто бы мог представить, что вот этот полузамерзший, несчастный Коба расстреляет почти всех встречавших его на перроне. И самого Каменева, с которым целовался, и его двух сыновей и жену. Она была тут же, на вокзале, эта барственная дама. Сестра Троцкого...

Сколько раз потом мне придется вспоминать историю Революций и столько же раз – вопль на гильотине несчастного французского революционера: «Революция – бог Сатурн, пожирающий своих детей. Берегитесь! Боги жаждут!» Но про это «Берегитесь!» мы забыли. Мы почему-то были уверены: история, как смерть, нас не касается. Она про других. Впоследствии мы будем говорить об этом с Бухариным в камере. Два старых революционера, отправленных третьим – Кобой в революционную тюрьму.

...Уже давно нет Бухарина, давно нет Кобы. А я все живу, не переставая страдать и надеяться...

А тогда жена Каменева строго взглянула на мужа, прервав благодарности Кобы:

– Нам пора.

Но тот сказал:

– У нас с Кобой есть одно важное дельце... А ты, киска, – смешно: он называл киской эту львицу, злую, яростную, волевою деспотку, – бери извозчика и жди меня дома. – И весьма повелительно обратился к Молотову: – Давайте-ка, батенька, садитесь с нами. И указывайте путь. Мы с товарищем Кобой едем к вам в редакцию...

На крыльях автомобилей, выделенных для встречи туруханцев, лежали солдаты с винтовками, исполняя роль новой почетной охраны.

Я, Коба и Молотов теснились на заднем сиденье, сам же Каменев сел рядом с шофером.

– Откуда автомобиль? – любознательно спросил он у шофера.

– Из царского гаража забрали. На ем Николашка ездил. Его хранцуз-шофер обслуживал, нынче он в бегах. Таперича я.

– А где царь? – поинтересовался Коба.

– В Царском под охраной. И вся семейка с ним.

– Надо же... – прыснул в усы Коба. – Трудно привыкнуть после Курейки – ездить царем...

Несмотря на морозец, на улице было множество людей. Из многих кафе прямо на тротуар были вынесены столики, за ними сидели солдаты с красными повязками, пили чай с калачами, хрустели сахаром вприкуску. «Спасителей Революции» было положено бесплатно поить чаем. Несмотря на утро, по улицам уже брели толпы вооруженных и безоружных людей. И эти толпы все время пели. Революция очень музыкальна. Революционные песни сменялись криками «ура!», крики – революционными песнями. У этих горланящих, еще вчера слоняющихся без дела толп теперь появилась внятная, счастливая цель – искать «народных палачей – полицейских и жандармов» и «окопавшихся контрреволюционеров». По всей столице шли теперь устроенные нашим Советом обыски и аресты представителей прежней власти.

Помню, я возглавлял один из таких обысков. Это была квартира князя Г., директора одного из хозяйственных департаментов. Старик-князь величественно восседал в кабинете за столом и, не обращая на нас внимания, читал книгу в роскошном переплете. Я оставался с ним, пока мои солдатики, как-то робея, пошли обыскивать комнаты. Потом вернулись. И тогда князь, не глядя на них, спросил:

– Закончили, господа?

– Закончили, точно так, – сказал солдатик.

– Тогда часы мои, те, что лежали на камине в гостиной, не изволите ли положить на место?

Я понял: мерзавец нарочно их оставил на камине, точно зная, что его золотые часы солдатики непременно сопрут.

– Отчего же не положить... положим, – смущенно ответил один из солдат и вынул их из кармана, потом, вздохнув, прибавил: – Хоть за труды дайте на чай, барин?

Князь насмешливо посмотрел на меня:

– Если ваш начальник не возражает...

Я готов был провалиться сквозь землю, но... промолчал. Уж очень хотели денег солдатики. И он положил деньги на стол...

Да, уважение к барам еще не прошло у одних. Зато в других уже полыхала революционная ярость.

По дороге Каменев попросил остановить автомобиль у сгоревшего охранного отделения, хотел насладиться... Коба с усмешкой, молча смотрел на обугленные, все еще дымящиеся развалины. В это время из дома напротив выскочил некто очень высокий, дородный, в дорогой шубе, понесся по тротуару вдоль шагнувшей по проезжей части толпы.

– Лови! Уйдет, паскуда! – кричал выбежавший за ним маленький матросик.

Тотчас кто-то вырвался из толпы и умело подставил ножку бежавшему. Тот плюхнулся в грязь в своей роскошной шубе.

Матрос подоспел, поднял его за воротник и теперь крепко держал за шиворот. Толпа окружила их. Тот, в шубе, был очень высок и, должно быть, силен. Но почему-то покорно стоял. Лицо, измазанное грязью, торчало над толпой.

– Этого сукина сына, граждане, я знаю, – громко крикнул матрос в толпу, – я долго его искал. Он лично меня допрашивал. В зубы мне тыкал. А таперича вот я его. – И, подпрыгнув, ударил высокого кулаком по зубам. Тот молча сплюнул зубы кровавыми губами.

– Большой ты был начальник, ваше благородие? – закричал матрос. – Плохо тебе сейчас? Отвечать будешь?

Высокий молчал, и матрос, снова подпрыгнув, еще раз ударил кулаком.

– Плохо, – прошептал тот, опять сплевывая.

В этот момент он заметил нас. Глаза его с мольбой уставились... на Кобу! Коба отвернулся, но было поздно. Высокий вырвался из рук матросика и бросился к нему. Я слышал его шепот:

– Спасите! Вы можете!

Коба оттолкнул его и как-то удало, весело крикнул в толпу:

– Бей гниду, братцы, – и мне торопливо: – Что стоишь? Бей гада!

Я, как всегда, исполнил. Бросился на шубу, столкнул его в грязь, но тотчас отскочил, и вовремя. Жадная до расправы толпа набросилась, добила.

Высокий лежал в грязи в своей шубе. Кто-то, мгновенье назад бивший его, наконец поинтересовался:

– За что его?

Из толпы ответили:

– Кто ж его знает... Он таперь неживой, не ответит.

Матрос объяснил:

– В сыскном – бо-ольшой чин! Ишь шуба какая. Да что ж добру пропадать, православные. – И он деловито начал снимать с мертвеца шубу.

Именно тогда я впервые начал догадываться о тайне Кобы.

Мы приехали на Мойку. В кабинете Молотова состоялся разговор...

Коба снял черное пальто. Под ним оказался поношенный пиджак, косоворотка, брюки, заправленные в валенки. Каменев тоже повесил пальто, оставшись в отличной тройке (такую впоследствии я увидел на Ильиче.) Не хотел быть похожим на народ. Был прав. Главное свойство нашего народа – «своих» не уважать.

Молотов с Кобой были знакомы по общей ссылке, но это никак тогда не проявилось. Встретились, будто чужие.

Каменев начал изысканно, вежливо:

– Итак, давайте уточним, голубчик, кто редактирует главную газету партии.

– Я, – ответил Молотов.

– Я хотел бы внести некоторое изменение, молодой человек. Главную газету партии с сегодняшнего дня редактируют новые товарищи – член ЦК нашей партии товарищ Коба Сталин и товарищ Каменев, бывший ее редактор, член Государственной думы, глава большевистской фракции. Прошу нас любить и очень жаловать. Я надеюсь, голубчик, у вас возражений нет?

Молотов задумался. Потом обвел глазами приезжих. И сказал:

– Возражений нет. Мне уходить?

– Ни в коем случае. Вы будете нам помогать, – улыбнулся Каменев и затем попросил всех нас оставить его наедине с Кобой.

Мы с Молотовым вышли в коридор. Здесь на стуле сидел приехавший следом Шляпников. Не стесняясь моего присутствия, он набросился с матерком на Молотова – зачем уступил (подслушивал под дверью).

Молотов усмехнулся и, как обычно, ответил очень спокойно:

– Скоро приедет Ильич, у него всегда особое мнение. Что бы ни написала в газете эта компетентная парочка, они ошиблись... Ильич уничтожит этих самодовольных глупцов. Так что пусть за газету отвечают они.

Шляпников задумался. Он знал, как и все мы, что Ильичу приехать в Россию из Швейцарии невозможно. Но он знал, как и все мы, что Ильич тем не менее обязательно приедет. Так что Шляпников, поразмыслив, больше ничего не произнес.

Каменева завезли домой и поехали к друзьям Кобы – Аллилуевым. Он в письме договорился поселиться у них. По дороге я спросил Кобу:

– Мы давно не виделись. Как тебя теперь называть?

Я знал: уже с 1914 года он стал подписываться Сталин.

– Товарищ Сталин, но для тебя – Коба... Для старых друзей до смерти – Коба.

– Почему Сталин?

– Потому что сталь все выдержит... Мне кажется, мой старый знакомый Молотов хорошо усвоил, что стали молот не страшен. И освободил место. А вот тот, в коридоре – не понял, потому, как болван. – У Кобы всегда был очень хороший слух.

– Почему Каменев?

– Товарищ Фудзи забыл Евангелие. А вот товарищ Каменев помнит, хотя в семинарии не учился... «На этом камне я построю церковь...» «На этом камне я построю партию», – будто бы сказал про него Ильич. Вряд ли сказал, если только не был в очень хорошем настроении. Самодовольный человек – Каменев.

– А почему не Сталинов? Ведь Каменев и Молотов...

Коба засмеялся:

– Дурак! Потому что Сталин – как Ленин...

Великие всегда слышат тайный голос Провидения.

Он будто услышал тогда это имя, которое легко кричать и славить.

«За родину, за Сталинова!» – нет музыки! «За родину, за Сталина!» – лихо!

Последняя любовь Кобы

Аллилуевы жили в обычном петербургском доходном доме. Квартира находилась под самой крышей на последнем этаже. Родители отправились покупать угощение для гостя, нас встречало новое поколение.

Я запомнил хорошенькие лица двух гимназисточек, выглядывающих из-за плеча брата Федора...

Я вошел первым, и одна из них, черноглазая, тоненькая, бросилась мне на шею. Потом смешно отпрянула. Коба, вошедший за мной, прыснул в усы.

– Боже мой! Вы очень похожи, – сказала она. (Мы давно не виделись с Кобой, и я успел позабыть этот частый рефрен.)

– Это Фудзи, мой брат, – пояснил Коба.

– Настоящий брат? – спросил Федор.

– Больше, чем настоящий. Он – друг...

Пили чай. Помню, провожая меня к дверям, Коба шептал:

– Хороша?

Помимо черноглазой Нади за столом сидела ее сестра, но я не спрашивал, о ком он шепчет. Я знал этот взгляд, когда буквально пылали его желтые глаза. Я хорошо видел, на кого он так смотрел.

– Похожа на грузинку...

(Прабабка Нади была цыганка. Опасная цыганская кровь!)

– Смугленькая... И рыженькая, как мама, – продолжал Коба. – Я женюсь на ней, – он засмеялся. Счастливо засмеялся.

Немолодой грузин (под сорок) решил жениться на девочке-гимназистке. На нашей маленькой родине такие браки – в порядке вещей.

Семью Аллилуевых я знал по рассказам Кобы. Не раз, бежав из ссылки, он прятался у них в квартире.

Отец Нади, столяр, был в нашей партии со дня основания. Ее мать – маленькая зеленоглазая красавица с пепельными волосами. В молодости столяр Аллилуев, плечистый черноволосый, красивый парень, много раз изгнанный с работы за революционную деятельность, снимал угол в их доме. Ей было четырнадцать, когда она смертельно влюбилась в будущего мужа. И объявила матери, что выходит за него замуж. Мать заперла ее в комнате, выдать дочь за бездомного столяра-революционера ей не улыбалось. Девушка не сомневалась в ответе матери и обо всем позаботилась заранее. Возлюбленный ждал ее у дома. Она выбросила узелочек и спустилась по веревке со второго этажа. Веревка оборвалась, она упала, сломала ногу. Но влюбленный Аллилуев унес ее на руках... Страстная была женщина. Будучи замужем, ничего не могла поделать с тем же «огненным темпераментом». Когда новая страсть беспощадно завладевала ею, она не обманывала несчастного Сергея. Просто уходила из дома. Но каждый новый роман заканчивался возвращением к доброму мужу...

Впоследствии я услышал опаснейшую историю. Будто появление в доме Робин Гуда Кобы не оставило равнодушной пылкую женщину. И рождение младшей дочери Аллилуевой Нади имело отношение к этому роману. Надеюсь, это легенда. Во всяком случае, в тот же вечер Коба рассказал мне, что познакомился с Аллилуевым, когда Надя уже появилась на свет... Он дважды мне это рассказывал – видно, знал о легенде. Даже добавил новую подробность о том, как в детстве спас маленькую Надю. Она купалась в реке и начала тонуть, он в одежде бросился в реку. Но, насколько помню, он так и не научился плавать – стеснялся шести пальцев на ноге.

Отелло и Дездемона

Я навестил у Аллилуевых Кобу через несколько дней. Он попросил меня привезти Камо. Я привез.

Мы пили чай. Родителей опять не было. За столом сидели сестры Надя и Анна и брат их Федя. Я и сейчас вижу *ту* Надю. У нее смуглая кожа прабабки-цыганки. Темные волосы расчесаны на прямой пробор, ровно падают на плечи, и такой же безупречно ровный прямой нос и тонкие губы. Все это создает ощущение чего-то твердого, непреклонного. Женственны только невысокая точеная фигурка и, конечно, глаза – огромные, карие, нежные и... печальные.

Напротив Аллилуевых сидим мы – Коба, Камо и я. Младшие Аллилуевы замороженно смотрят на Камо. Еще бы – герой партии. Так ловко умел убивать! Сам герой партии рабски преданными глазами глядит на Кобу. Коба же... весь вечер весело подтрунивает над Камо, а тот добродушно сносит. И Надя чувствовала: легендарный Камо боготворит Кобу! Неразговорчивый Камо вдруг начал рассказывать о наших подвигах, о том, как был бесстрашен Коба... Хотя Коба строго запретил упоминать о его участии в эксах. Но я понимал – на этот раз он разрешил. Да, он был влюблен. Второй и последний раз я видел его влюбленным.

Наконец Камо замолчал, и теперь уже заговорил Коба. Говорил не умолкая. Надо заметить, он был в ударе. Все время поглядывая на Надю, смешно рассказывал, как на каждой остановке поезда господ буржуи с красными бантами приветствовали их – «жертв проклятого царского режима». Как в привокзальных ресторанах испуганные хозяева кормили голодных «жертв» бесплатно. Она хохотала. После смешной истории тотчас последовала трогательная. О собаке Тишке, с которой одинокий Коба разговаривал в бесконечные полярные ночи.

– Я часто рассказывал ей о вас всех, – признался Коба. – Причем так часто, что при слове «Аллилуевы» она радостно, долго лаяла.

И опять хохотала Надя.

Польщенный, он завершил повествование совсем героически. Как в полярную ночь в чудовищный мороз, в пятьдесят градусов он отправился добывать рыбу, чтобы не умереть с голоду. И дошел... Через все дошел. С каким восторгом Надя, не читавшая рассказов Джека Лондона (которые читал Коба), смотрела на него! Боже мой, как она на него смотрела! Как горели ее обычно печальные глаза!

Я и сейчас вижу: они сидят за столом в начале века, пьют чай вприкуску и весело смеются... Камо, Надя, сестра ее Аня и брат Федя. Я смотрю на них из самого конца века. Я уже все знаю: Коба убьет Камо, посадит в тюрьму сестру Нади, погибнет и сама Надя, сойдет с ума ее брат... Опасный у нее жених! Но все это впереди.

Сейчас Надя смотрит на него хмельными, влюбленными глазами.

Его первая шахматная партия

Вначале я ничего не мог понять. Помню, с каким изумлением я читал «Правду», которую выпускали теперь Каменев и мой друг. Очень странно писал в ней Коба. Славил Российскую социал-демократическую партию, будто забыл, что единой Российской социал-демократической партии для нас, соратников Ленина, не существует: есть два непримиримых врага – большевики и меньшевики. Чего стоили призывы Кобы к завоеванию Босфора и Дарданелл, его требования непременно сохранить территории бывшей империи! Коба открыто топтал ленинские лозунги.

На моих глазах произошла яростная сцена. Я пришел к нему в редакцию и буквально столкнулся с ворвавшимся туда Шляпниковым. Оттеснив меня, он бросился в кабинет Кобы. Я услышал крик:

– Мы, большевики, призываем к ленинским лозунгам – братанию на фронте, немедленному прекращению войны! А ты что пишешь в нашей партийной газете? «Лозунг „Долой войну!“ совершенно не пригоден!» – вот что ты пишешь! Твой товарищ Каменев призывает солдат «отвечать пулей на немецкую пулю». А эта твоя империалистическая околесица – «завоевать проливы и сделать Черное море внутренним русским морем»?..

И тут я услышал ответный бешеный вопль Кобы:

– Вон отсюда! Убью, сволочь!

Раздался страшный грохот. Бедный Шляпников пулей вылетел из кабинета.

Когда я вошел, Коба преспокойно сидел за столом и писал. В углу валялся брошенный в Шляпникова стул. Он поднял голову и усмехнулся:

– Товарищ Наполеон учит нас: у настоящего политика гнев не поднимается выше жопы... Учимся, понемногу учимся, – и прыснул в усы.

...Шляпникова расстреляют в дни террора одним из первых. Коба ни про кого никогда не забывал...

Бедный Шляпников был прав: то, что писал Коба, было повторением того, что писали и говорили министры Временного правительства и меньшевистское руководство Совета. Так что и правительство, и вожди Совета сразу заметили Кобу, влиятельного функционера радикальной партии большевиков с такими удобными нерадикальными взглядами. «Коба Сталин» – так по-новому подписывал он свои статьи. По-новому подписывал он их не зря. В Петроград приехал совсем новый Коба. Прежний остался за Полярным кругом – преданный, жалкий глупец, которого использовали и так легко забыли. Новый Коба Сталин больше не служил богу Ленину. Коба Сталин служил себе. Точнее, себе и Революции – постольку-поскольку она могла служить ему.

Все сильнее становится Совет. Безвластное Временное правительство ищет у него поддержки. В состав правительства введен один из лидеров Совета – эсер Александр Керенский... Во главе Совета по-прежнему стоял наш соплеменник меньшевик Николай Чхеидзе. Другой соплеменник меньшевик Ираклий Церетели – еще один вождь Совета. Вечное братство маленького народа... Конечно же оба захотели, чтобы большевики делегировали в руководство Совета грузина Кобу с такими полезными взглядами. Вчерашний всеми забытый туруханский ссыльный – теперь член Исполнительного комитета Совета, истинного властителя Петрограда. Свершилось! *Приближаясь к сорокалетию, мой друг впервые соединился с властью.*

Шахматная партия проходила блистательно, но конец ее был впереди.

Унижение последнего царя

В это время нам опять понадобились деньги. Драгоценности Кшесинской не принесли большой прибыли. Рынок в те дни был буквально забит драгоценностями. Их щедро продавали обнищавшие хозяева прежней жизни и воры, по ночам грабившие их дворцы и квартиры. При этом жизнь ужасно подорожала. Так что расходы на создание Красной гвардии все возрастали. Деньги требовались и Кобе на партийную газету. Он сказал мне кратко:

– Надо достать.

Как же загорелись мои глаза – неужто вернулась наша молодость? Опять эхсы!

– Говорят, плохо охраняются дворцы великих князей... – начал я.

– Где плохо охранялось, все уже взяли воры.

– Остается Царское Село, дворец с Семьей охраняют надежно. – Я усмехнулся.

– А ты узнай, дорогой, как его охраняют. Завтра туда поедет инспекция от Совета. Слух прошел, будто Семья сбежала.

– Как это сбежала, если охрана ее видит каждый день?

– Совет пустил этот слух, чтобы иметь повод показать свою власть. Я включу тебя в депутацию.

Вас будет двое: левый эсер Мстиславский – от эсэров и ты – от большевиков. Он старший, ты будешь не так заметен.

Автомобиль опять же с солдатами, лежащими на крыльях, повез нас в Царское Село. В автомобиле эсер Мстиславский (революционная кличка) глянул на меня насмешливо:

– А ты, погляжу, разделся на царский прием.

Я был в обычном теплом пальто с меховым воротником и в шляпе.

– А ты нет, – сказал я, посмотрев на его поношенный полушубок с полковничьими погонами, надетый на матросскую блузу.

– Я тоже разделся, но правильно. Именно так должны являться революционеры во дворцы тиранов. Весь мир теперь наш. И мы в нем устраиваемся как хотим и навсегда... Мстиславский тоже погибнет в лагерях Кобы...

Подъехали к решетке Царского Села. Вокруг ограды парка охраны не было. Но за ней – саженные лейб-гвардейцы.

У Екатерининского дворца нас встретил молоденький поручик, начальник караула.

– По постановлению Петроградского Совета просим предъявить нашей депутации гражданина Романова, – объявил Мстиславский и протянул предписание Совета.

– Смею узнать зачем? – спросил офицер.

– Смею ответить: слух нехороший, будто Кровавый царь убежал вместе с семьей.

– А мы что же, по-вашему, охраняем пустое место?

– Это нам и поручил узнать Совет рабочих и солдатских депутатов, – с упором на «солдатских» произнес Мстиславский. – Предъявите нам гражданина Романова.

Я помалкивал, стоя в стороне.

– Вот люди! – сказал в сердцах поручик. – Ладно, подождите... Он будет после обеда гулять в саду с наследником.

– Вы не поняли. Мы, эмиссары революционных рабочих и солдат, не собираемся ждать тирана. При проверках в царских тюрьмах мы, арестованные революционеры, представляли перед царскими палачами по первому их требованию. И сейчас именем Революции мы требуем: пусть предстанет перед нами арестованный Кровавый царь.

– Нам велели сторожить полковника Романова. Но унижать его нам не поручали, – мрачно отрезал офицер.

– По-моему, вы хотите, чтоб мы ушли? Мы уйдем. Но тогда вместо нас сюда придут революционные солдаты. И увезут Романова в Совет.

Думаю, начальник охраны наконец-то понял, что все делается, чтобы Совет получил право захватить дворец и царя.

– Ну и люди! Дрянь люди! – сказал он в сердцах и позвал: – Арчиль!

Тотчас вырос двухметровый гвардеец – грузин.

– Проводи господ в Александровский дворец. Введешь их во внутренние покои и поставишь на перекрестке двух коридоров по пути в библиотеку. Я попрошу полковника Романова пройти мимо них...

Как же запело мое сердце. Грузин в охране! Зацепка была найдена сразу.

По дороге в Александровский дворец Арчиль Г. рассказывал нам:

– У Семьи все по расписанию. Романов обычно в это время идет из библиотеки навещать царицу. Она строгая, высокая, представительная женщина, царь – маленький, плюгавый, на царя-то не похож...

Подшли к жилищу царской семьи. Александровский дворец смотрел на небольшой пруд. После роскоши Екатерининского дворца он казался маленьким, жалким, каким-то заштатным. Но именно здесь, в доме последнего царя, должны были находиться семейные сокровища Романовых.

Вошли во дворец и тотчас попали в фантастический мир – в царскую жизнь из детских сказок. У дверей залы застыли арапы в чалмах и расшитых золотом малиновых куртках. Прошел мимо нас в шапочке с пером скороход, за ним – два лакея в ливреях и некто в треуголке.

Посреди этого маскарада стояли мы – «новый мир»: Мстиславский в засаленном полушубке и с браунингом за поясом и я в своем черном, выдавшем виды пальто.

Арчиль как-то тихонько, почтительно постучал в дверь залы. Дверь отворилась, и на пороге между арапами появился Николай в гусарском мундире. Он теребил ус, равнодушно взглянул на меня, потом на Мстиславского. Но в следующий миг я увидел, как полыхнули глаза царя. Он только начинал привыкать к унижениям, этот человек, двадцать два года правивший Россией. Если бы он знал, что ему предстоит, и скоро!

Могила Распутина

Я начал встречаться с Арчилом Г.

(Пропускаю, как случилось наше сближение, как я сперва безуспешно подкупал его, как потом давил на его совесть – рассказывал о царских бесчинствах в Грузии. Как, наконец, он решился помогать нам.)

В тот день мы сидели в ресторане, он нарисовал схему караулов вокруг и внутри дворца. Окончательно убедив меня в том, что успешно напасть на дворец нереально. Тогда он предложил мне совсем другое.

Оказалось, здесь, на самой окраине парка, был тайно похоронен Распутин.

– На этом месте, – объяснял Арчиль, – Вырубова решила построить часовню. Когда убили Распутина, я как раз определился на службу – в конвой.

– Ты был в царском конвое?

– Я много где был. – Разговор явно не нравился ему. – Через день после нахождения тела старца, рано утром, все посты охраны внутри парка вдруг были сняты. У нас пошел слух, что в то утро в парке захоронили Распутина. Вскоре я узнал от грузина-священника, что в гробу лежали бесценные золотые кресты, иконки в драгоценных окладах и много подношений от царской семьи... Понять, где похоронили старца, мне было нетрудно. После Гришкиной смерти меня часто ставили в караул у этой самой недостроенной вырубовской часовни. Хотя охранять, кроме стропил и кирпичей, там вроде и нечего. Но днем, как правило, меня с караула снимали, чтобы через пару часов возвращать обратно. Я выследил: когда меня снимают, именно в это время царица и Вырубова приходят к недостроенной часовне и входят в нее! *Я понял: могила там...*

– Когда пойдем? – прервал я рассказ.

– Да хоть сегодня ночью... Если не боишься.

– А чего мне бояться? – удивился я.

– Страшный был человек.

Я засмеялся:

– И я тоже страшный. Ты пойдешь со мной или нет?

– Как же я тебя одного оставлю? Надеюсь, не все для партии заберешь. – И добавил: – В парке есть вторая калитка, по прозвищу Царская. Александр II через нее любовницу свою проводил. Я ее тебе открою. – Он улыбнулся: – Лопаты я уже принес. Они в часовне.

Арчиль нарисовал, как мне найти калитку и часовню...

Была ночь, полнолуние. Ударил морозец. Деревья Царскосельского парка – в лунном сиянии. Изморозь мерцала на голых ветвях... Темный силуэт в лунной ночи – недостроенная часовня. Когда подошли поближе, я увидел: она вся в лесах. И вход старательно заколочен...

– Надо было принести с собой топор.

– Не надо. – Арчиль показал наверх. Там в свете луны зияло отверстие.

По стропилам мы добрались до отверстия и сквозь него проникли в часовню. Пол настелить не успели, внизу была земля. Помню, как мы разожгли лучины и начали рыть под иконостасом. Гроб оказался глубоко в земле. Но мы копали споро. И наконец лопата стукнула о крышку. Подняли гроб. Сбили крышку и в тусклом свете лучин увидели бороду и сложенные крест-накрест руки... Боже, чего там только не было! Золотые кресты, иконы в золотых окладах с драгоценными камнями, пасхальные яйца Фаберже... Мне почему-то стало не по себе. Я старался не глядеть на труп, Арчиль же развеселился и даже начал остричь:

– Ну что, Григорий, не жалко с таким добром расставаться?

И принялся споро очищать гроб.

Наконец я взглянул на лицо трупа. Клянусь, оно было страшно... В свете луны – призрачное, безглазое.

Мы все забрали. Оставили только небольшой деревянный образок.

Впоследствии начальник Арчиля капитан Климов отыщет гроб. Откроет и ничего не найдет, кроме этого образка. Об этом будет много написано потом. Климов организует сожжение трупа. Старца вывезут из Царского и сожгут по дороге. Но Григорий отомстит ему. Был слух, что Климова вскоре убили на войне, причем он, как и Григорий, сгорел, но только в танке. Хотя точно не знаю...

Про Климова я узнал позднее. А вот с Арчилом беда случилась на моих глазах.

Когда мы спускались по стропилам, он все хохотал, веселился и... оступился. Его последний вопль описать не смогу... Арчилю напоролся на оставленный строителями огромный острый брус. Брус пропорол ему грудную клетку и разорвал сердце...

Мешок с драгоценными вещами лежал рядом. Я все-таки решился – взял его...

Принес все это Кобе, рассказал про Арчиля, спросил:

– Может, не надо? Может, лучше на место положить?

– Надо, – ухмыльнулся Коба, – ох как надо...

Долго мне все это снилось, долго я просыпался ночью от крика, долго не решался отнести эти вещи перекупщикам. Наконец отнес. Но пока раздумывал, ситуация вдруг чудесно изменилась. У нас появились деньги. Очень большие деньги.

Продолжение шахматной партии: красотка Коллонтай

С конца марта с Кобой начали происходить странные вещи. Как я уже писал, он стал властью. Первое время он был очень активен в Совете – много выступал, славил наступление на фронте, требовал захватить у Турции проливы – старую мечту русских царей. Но с конца марта Коба загадочно переменялся. Теперь – никаких выступлений. Этаким постоянный молчун, просиживающий штаны. Помню, меньшевик Суханов спросил меня: «Зачем вы вообще послали в Совет это тусклое, серое пятно? Не подыскать ли вам кого-нибудь другого?»

Но я научился понимать моего друга Кобу. Я не сомневался: его шахматная партия продолжалась, и мой великий друг сделал новый ход.

...Меньшевика Суханова Коба тоже расстреляет...

В это время в Петрограде появилась главная красотка партии – Сонечка Коллонтай. В партии были две главные чаровницы – Инесса Арманд и она, Сонечка. Но если Инесса хранила верность одному любовнику – Ильичу, то Сонечка была верна любви вообще. Оттого предметы ее любви часто менялись, если не в сердце ее, то в постели. Не скрою, обе дамы пленили меня (пленить меня не составляло труда, в те годы я постоянно пребывал в чьем-нибудь плену). Я упоминаю о моей страсти к этим двум женщинам только потому, что обе они мне отказали. О партийных дамах, павших жертвой моего южного темперамента, умолчу. Истинный мужчина обязан заботиться о чести дам, пусть даже дам былых времен...

Инесса отвергла мои ухаживания с брезгливой гримасой, означавшей: «Ведь вы наверняка знаете... И смеете думать!..»

Коллонтай сделала это очаровательнее – кокетничала, оставляла надежду. Но я был не в ее вкусе. Она любила высоких мужчин с шершавыми рабочими руками, желательно безмозглых. Я называю это «английский вкус». Очень родовитые и очень умные английские аристократки обожали спать со своими кучерами. Так что мне предпочли тогда рабочие руки глупца Шляпникова. Шляпникова сменил матрос Дыбенко с телом гиганта и разумом ребенка...

Но все это впоследствии. Тогда же, в марте 1917 года, Коллонтай только появилась в Петрограде и тотчас посетила дворец Кшесинской. Вручив мне письмо Ильича, адресованное петроградским большевикам, велела немедленно передать его Кобе. После чего попросила проводить ее в гардеробную бывшей хозяйки. Предвкушая представление, я с готовностью повел ее туда. Помню, как торопливо она распахнула дверцу шкафа и... ахнула. Там стояли ружья, купленные на драгоценности из распутинской могилы. Я не стал ее долго мучить, привел в темную кладовку, где были свалены в огромную кучу туалеты балерины. Она буквально улеглась на эту гору и застонала от восторга.

– Для достижения настоящего удовольствия вам надо добраться до норковых шуб, погребенных под платьями, – сказал я.

Когда я уходил, она уже начала раскопки – платья балерины летели в разные стороны. Я оставил ее на счастливом пути к мехам.

Вышла она нескоро, но в великолепной горностаевой шубке. После чего осведомилась о драгоценностях. Я отдал ей жалкие непроданные остатки – серьги и три кольца. Объяснил, что остальное ушло на нужды партии. Она попросила список покупателей. Я понял, что она хочет что-то выкупить.

И тогда впервые подумал: она привезла с собой не только ленинское письмо, но и деньги.

Немецкие деньги

Ленинское письмо я отвез в редакцию «Правды» Кобе.

Коба прочел мне вслух отдельные фразы. В письме Ильич иступленно поносил и Кобу и Каменева и обещал *по приезде* хорошенько отлупить обоих и объяснить, что такое линия партии и истинный марксизм.

– Он приедет, – сказал Коба.

– Но каким путем? Германия не может их пропустить. Они граждане страны-врага.

Коба повторил:

– Он приедет, – и добавил одно имя, мне хорошо знакомое: – Парвус.

После чего молча выдвинул ящик стола. Я не поверил своим глазам. Ящик был буквально набит валютой – шведскими кронами.

– Она привезла на нужды партии. Очень много шведских крон, *полученных в немецком банке*.

Я устался на Кобу в недоумении.

Только впоследствии я узнал... Все тот же загадочный Толстяк Парвус. Он написал меморандум для вермахта и генерала Людендорфа. Эти документы после войны нашли в архиве немецкого МИД, а немцы не успели их уничтожить... Думаю, не хотели. Это был «подарок» погибавшего Гитлера победителю Кобе. В меморандуме Парвус объяснял генералам, что большевики – самая боеспособная партия, всецело подчиненная человеку со стальной волей, Ленину. Это единственная партия, которая сможет разложить армию, устроить Революцию и вывести Россию из войны.

Он договорился – немцы пропустят Ленина и несколько десятков социал-демократов для его прикрытия.

Ленин вернется в Россию не с пустыми руками. Судя по найденным распискам, Парвус получал от немцев десятки миллионов на русскую Революцию... Генералы торжествовали, ожидая гибель противника. Не понимали генералы, что это было только началом исполнения мечты столь угодливого с ними еврея, решившего соединить Маркса с прусскими штыками.

Россия была выбрана им как самое слабое звено в мировой цепи воюющих стран. Но Россия всего лишь трамплин. Из России Революция должна была перепрыгнуть в Германию – страну с мощным пролетариатом. И уже оттуда рабочим батальонам надлежало разнести ее по всему миру. Всемирная «перманентная Революция» – вот что задумал Толстяк, таинственный толкач Революции, о котором я мало знаю до сих пор. Хотя мне суждено было... но об этом позже.

Все это грязное закулисье событий откроется мне потом. Знал ли о нем Коба?

Он всегда обо всем узнавал первым... или догадывался первым. Во всяком случае, мне он тогда сказал:

– Чему удивляешься, дорогой? Из всей мировой социал-демократии только у Ильича оказались общие цели с кайзером. Кто агитирует за поражение царской России? Кто призывает к превращению мировой войны с Германией в гражданскую войну внутри России? Кто требует, чтобы крестьяне и рабочие, одетые в солдатские шинели, повернули ружья против собственной буржуазии? Чего ж удивляться, если немецкие ослы наконец это усвоили и платят. Проблем с Красной гвардией больше не будет.

– Но ведь это... измена? – прошептал я.

– Это говорит большевик? Грабивший и убивавший во имя Революции?! Неужто ты забыл завет: дружи хоть с дьяволом, если это нужно для Революции. Разве не этому учил великий Нечаев? Запомни: у нас может быть только одна измена – делу Революции.

– Но Революция, если меня не подводит память, у нас свершилась, – сказал я зло.

– Свершилась Революция для *них*. Теперь нужна революция для *нас*... Мы с тобой были идиоты, когда писали в «Правде» все эти глупости. – Он так и сказал: «Мы с тобой». – Одно нас оправдывает: мы создавали Красную гвардию. И если и писали все это, то лишь чтобы прикрыть *это великое дело*.

Я в изумлении смотрел на него.

– Ты понял меня, Фудзи? – спросил он, и глаза его стали желтыми.

Я ответил:

– Понял.

Коба продолжил:

– Когда эта вертихвостка сказала мне, что Ильич требует создать Красную гвардию по всей России, я рассмеялся и объяснил, что нами это давно делается, только тайно, – помолчав, добавил: – Как же он вовремя приезжает... Вокруг разруха, спекуляция и воровство. Армия не желает воевать, а его величество народ желает грабить... И он в этих письмах предлагает народу то и другое: заканчивай войну и грабь награбленное прежними хозяевами... На пороге у нас новая и настоящая Революция. Ох, разгуляется Русь! Я наслушался этих жалких говорунов в Совете и во Временном правительстве. Время речей, Фудзи, кончается, наступает время маузера. Наше время...

Он должен был сказать «мое время». Это был в очередной раз переменившийся Коба, вновь обретший прежнего бога – Ленина.

Но служить ему он собирался по-другому.

Его шахматная партия продолжится, и опять самым неожиданным ходом.

Окончание шахматной партии: встреча Ленина

В последних числах марта он мне сообщил:

– Свершилось! Они выезжают из Цюриха. Ленин и с ним еще тридцать два человека. Германия согласилась пропустить их в закрытом пломбированном вагоне... Ты представляешь, что начнется в газетах? – Коба походил по комнате. – Я получил очередное письмо от Ильича. Благодарит за Красную гвардию, продолжает крыть за «Правду». Однако всего в трех строчках. Все остальное – тревожится... очень боится, что его попросту арестуют на перроне. Просит организовать его моментальный отъезд с вокзала под нашим прикрытием. Он не забыл, Фудзи, что мы с тобой отважные грузинские парни. Не забыл товарищ Ленин также, что Шляпников и Залуцкий – болваны. Он так и пишет: «Наверняка не сумеют найти извозчика, ведь все извозчики будут заняты в идиотские пасхальные дни». Не забывает крыть религию товарищ Ленин... Вот что я думаю: мы с тобой устроим ему сюрприз – вместо извозчика организуем товарищу Ленину экипаж понадежнее. Какой? Неужели не понял? Броневик. – Коба прыснул в усы. – Мы должны вытребовать у Совета броневик, почетный караул и гарантию безопасности для Ильича. Имеем ли мы право требовать это? Излишне говорить, что имеем. Приезжает вождь партии, много страдавший при «проклятом царском режиме». Давай потрясем наших братьев-грузин. – И добавил очень тихо: – Он все простит, все забудет за такую встречу...

Я с изумлением его слушал. В нем что-то сильно изменилось внешне. Раньше он был юркий и быстрый. Теперь стал важный, медлительный. Расхаживал по комнате, посасывая трубку, часто сам себе задавал вопросы. И сам же важно на них отвечал. Я тотчас вспомнил, где я это видел. У нас с Кобой в Гори был учитель. Мы все его смертельно боялись. Перед началом урока он всегда требовал положить руки на столы, после чего обходил с розгой и больно бил по рукам. И сам себя спрашивал вслух:

– Зачем я это делаю? – И отвечал: – Чтобы у вас, маленьких негодяев, не было тени сомнений: учитель все о вас знает. – И опять следовал его вопрос себе: – Почему я могу высесть любого из вас? Потому что каждый знает, за что!

Он всегда говорил вопросами и ответами, этот учитель. Единственный учитель, которого панически боялся маленький Сосо.

Вскоре в Петрограде стало известно то, что уже было известно нам: воюющая Германия согласилась пропустить вагон с Лениным и прочими большевиками. Приезжали Крупская, Инесса Арманд, Зиновьев, Радек, остальных не помню. (Пикантность ситуации: красotka Инесса была признанной возлюбленной, Крупская – женой... Притом что Ильич был большой моралист...) Пассажиры не имели права покидать вагон, пока поезд ехал по территории Германии. Что началось в газетах! «Немцы благоволят большевикам! Приезжают немецкие шпионы!..»

Помню, как я и Коба в два голоса уговаривали Чхеидзе.

Коба:

– Злобный вой в газетах! Спрашивается, что задумала контрреволюция? – Поучительно выставив пальчик (еще один жест нашего учителя): – Использовать приезд Ленина для травли Совета! Что в этих условиях должен сделать наш Совет?

– Защитить Ильича! – выкрикнул я.

– Я тоже хочу защитить, – вздыхал Чхеидзе.

Коба:

– Но что нужно для этого? Организовать официальную, торжественную встречу...

Так мы с ним на два голоса спели эту песню о встрече Ленина.

– Ну хорошо, попробуем, попробуем, – продолжал вздыхать Чхеидзе, – теперь это очень нелегко, но попробуем...

27 марта 1917 года пришла телеграмма – вагон с большевиками отправился из Цюриха... Новая телеграмма: вагон проехал через всю Германию... И третья: Ленин и компания прибыли в Стокгольм. Фотография в социал-демократической газете: в Стокгольме Ильич с Зиновьевым, Крупской и шведскими социал-демократами идет по улице. Ленин в модном котелке. Как потом рассказали, фотограф снял их, когда они выходили из магазина, в котором Ильич купил пальто и... историческую кепку. В Петрограде он смеет буржуазный котелок на эту пролетарскую кепку, которую издавна носили немецкие рабочие.

Наконец, четвертая телеграмма: поезд выехал в Питер.

Все это время мы с Кобой неутомимо готовили торжественную встречу.

По прибытии на Финляндский вокзал Ильич должен будет пройти в Царский павильон – здесь прежде встречали царя. Мы сумели уговорить Чхеидзе. Решением Совета подогнали к Царскому павильону целых два броневика. С одного из них, по замыслу Кобы, Ленин обратится к встречающим с поздравлением по поводу победы Революции.

Мы со Шляпниковым организовали шествие на вокзал «представителей рабочих окраин». Распевая «Интернационал», колонна рабочих подойдет к особняку Кшесинской. В это же время мичман Раскольников приведет из Кронштадта отряд матросов.

Обе колонны соединятся у особняка, получится внушительное зрелище: впереди грозные матросы, за ними рабочий люд.

С пением «Интернационала» колонна двинется к вокзалу.

И наступил памятный день! «Встреча Ильича» началась во время остановки поезда на финской границе. В вагон вошла целая делегация – Каменев, Раскольников, Шляпников, Залуцкий и я. (Коба оставался на вокзале – организовывать главное зрелище.)

Ильич сидел в купе один. Купе было заставлено чемоданами, нам невозможно было пройти. Сгрудились в коридоре. Я должен был рассказать Ильичу, как мы создавали Красную гвардию. Но ни я, ни делегация не сумели и рта раскрыть. Мы забыли про его темперамент...

Ленин в рубашке, жилетке, палец заложен за жилетку, грозно встал посреди чемоданов. И яростно набросился на Каменева:

– Что это у вас пишется в «Правде»? Мы здорово вас ругали! – Он вошел в раж. Лобастое лицо покраснело, узкие глазки совсем сузились, метали молнии. – А вы тоже хороши, Коба!

– Я Фудзи, Владимир Ильич.

Он остановился. Все засмеялись. Засмеялся залиvisto и Ленин.

– Простите, товарищ Фудзи, вы на него похожи. Я давно не видел этого путаника.

В этот момент в коридоре появилась Крупская. Усталая, с глазами навывкате, она показала мне старухой. Втиснулась в купе между чемоданами, озабоченно спросила:

– Володя, они позаботились об извозчике?

Ленин опомнился, и яростный поток слов замер. Вернулся в действительность. Вот тут-то я и вступил в разговор:

– Все в порядке, Владимир Ильич. Об извозчике позаботился товарищ Коба. Он будет встречать вас на перроне.

Ильич улыбнулся и... продолжил яростно уничтожать Каменева.

Впоследствии мой друг исправит историю. На сотнях полотен будет изображена радостная встреча в поезде двух великих Вождей – Ленина и Кобы.

Историческая ночь на самом деле

Около одиннадцати вечера поезд подъехал к Финляндскому вокзалу. Состав остановился.

Первыми из вагона вышли мы, встречавшие Ильича.

На перроне уже выстроился почетный караул, солдатский военный оркестр. Выглядело великолепно. Коба здорово потрудился. И сейчас он стоял впереди цепи почетного караула. Мы все присоединились к нему.

Через некоторое время из поезда начали выходить приехавшие.

Первой появилась прелестная возлюбленная Ильича Инесса Арманд, в кокетливой парижской шляпке и в мехах. За нею – толстый Зиновьев с поросычьим круглым лицом. И наконец, они – Крупская, как-то испуганно взглянувшая на почетный караул, и Ильич в элегантном темном пальто и котелке. (Пролетарская кепка пока лежала в багаже, хотя впоследствии на тысячах картин он будет изображен с этой самой кепкой в руках.)

Офицер из цепи караула тотчас шагнул навстречу и вытянулся перед Ильичем. Ильич испуганно отпрянул назад, но офицер, взяв под козырек, произнес приветственную речь. В ответ Ленин почему-то тоже взял под козырек.

Грянул «Интернационал». И снова Ильич испуганно вздрогнул.

Коба подскочил и тронул его за руку. Ленин растерянно улыбнулся.

– У нас большой багаж, нам нужен носильщик, – попыталась перекричать «Интернационал» Крупская.

– Все организовано, ни о чем не заботьтесь, – ответил Коба.

Под революционные звуки он торжественно повел Ленина и Крупскую в одноэтажный белокаменный (модная смесь древнерусского со стилем модерн) Царский павильон. Здесь Ильича уже ждал Чхеидзе. И церемония продолжилась...

Я наблюдал забавнейшую картину. Горел камин, у камина стоял Ильич. Напротив него Чхеидзе читал приветствие от имени Совета. В приветствии выражалась надежда «на участие гражданина Ленина в развитии революционной демократии». От большевиков с краткими приветствиями выступили Шляпников и Коллонтай.

Все это время Ленин вел себя вызывающе. Демонстративно зевал, показывал, как ему скучно слушать все эти речи. Наконец, наступила его очередь. Начал он зло и сухо:

– Пора кончать разговоры о Революции, пришла пора ее делать.

Чхеидзе с изумлением уставился на него, громко ответил:

– По-моему, Революция уже произошла, и именно поэтому гражданин Ленин стоит сейчас в Царском павильоне!

– От Революции буржуазной, – будто не слыша, продолжал Ленин все громче, все злее, – пришла пора перейти к Революции социалистической. Впереди борьба! Не на жизнь, а на смерть. Борьба пролетариата с буржуазией. И в этой борьбе нет места социал-предателям. – И он прокричал толпившимся у входа матросам караула: – Нам не по пути с прислужниками капитала!

Чхеидзе возмущенно посмотрел на меня и на Кобу, молча повернулся и пошел прочь.

Ленин успел крикнуть ему вслед:

– Долой прислужников буржуазии! Да здравствует социалистическая революция!

Потом Коба говорил мне с восторгом:

– Что такое настоящий Вождь? Они ему протянули руку, а он в нее сунул камень. Тот ему морду для поцелуя подставил, а он в нее харкнул. Учимся, понемногу учимся!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.